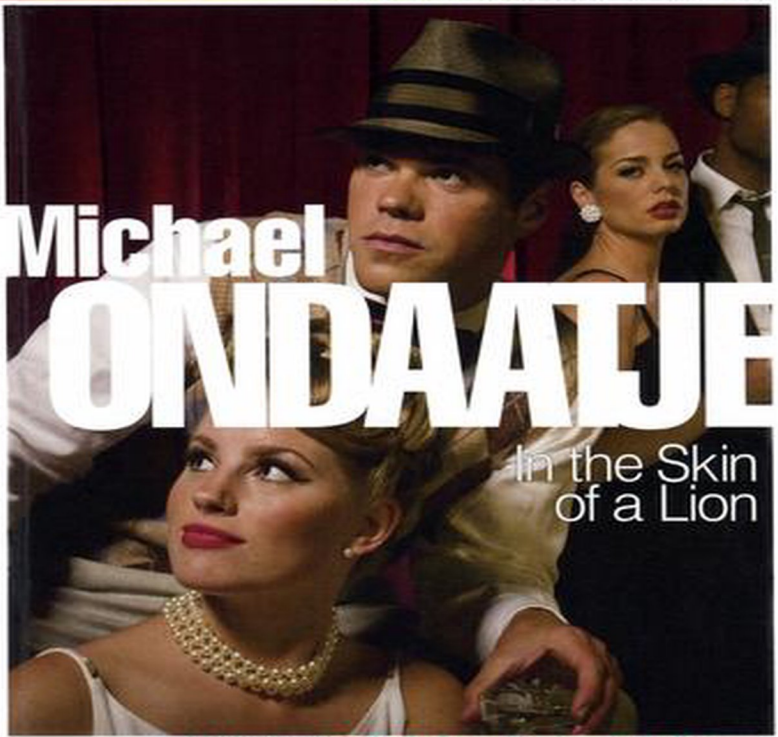
ЦВЕТ ЛИТЕРАТУРЫ



Майкл ОНДАТЖЕ

В шкуре льва

The Booker Prize

Лауреат Букеровской премии

АЗБУКА

В шкуре льва
Майкл Ондатже

Аннотация
Майкл Ондатже. В шкуре льва
Книга первая
  Крошечные зерна
    ~~~
    ~~~
  Мост
  Искатель
    ~~~
    ~~~
    ~~~
    ~~~
    ~~~
    ~~~
Книга вторая
  Дворец очищения
    ~~~
    ~~~
    ~~~
    ~~~
    ~~~
    ~~~

~~~
Сожаление
~~~
~~~
Книга третья
Караваджо
Морской театр
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~

Аннотация

Впервые на русском — предыстория «Английского пациента», удивительного бестселлера, который покорил читателей всех континентов, был отмечен самой престижной в англоязычном мире Букеровской премией и послужил основой знаменитого кинофильма, получившего девять «Оскаров». Снова перед нами тонкая и поэтичная история любви; на этот раз ее действие разворачивается в плавильном котле межвоенного Торонто, на хрупком стыке классов и субкультур. Среди действующих лиц — миллионер, пожелавший бесследно исчезнуть, и его верная возлюбленная-актриса, анархисты и честные подрывники с лесосплава, благородный вор Караваджо с ученой собакой, визионеры-зодчие грядущей утопии и ее безымянные строители…

Майкл Ондатже
В шкуре льва

Эта книга посвящается памяти Мишель Ламбет, Шарон Стивенсон, а также Билла и Мишаль Эйкрз

И еще Линде, Саре Шиэрд и Дэвиду Янгу

Я хотел бы выразить благодарность Фонду Джона Саймона Гуггенхейма, предоставившему мне стипендию на время написания этой книги.
А также Совету искусств провинции Онтарио, ресторану «Эль Баша», Обществу истории культур провинции Онтарио и Глендон-колледжу Йоркского университета.

Я хотел бы также поблагодарить Марго Тиздейл, Джорджа и Рут Грант, Доню Петрофф, Рика Холденби и Лилиан Петрофф. И

еще Айана Радфорта за его работу о финских лесорубах. Особая благодарность Эллен Селигман.

* * *

В этом художественном произведении автор иногда допускает некоторые вольности относительно времени и места действия.

Веселым людям скорбный обряд поручил я, А сам после друга рубище надел я, Львиной шкурой облачился, бегу в пустыню!

***Эпос о Гильгамеше*[1]**

Больше никогда единичная история не будет рассказана так, как если бы она была единственной.

Джон Бергер

[1] Примечания: 1

Эпос о Гильгамеше, таблица VIII. — *Здесь и даже цитируется по переводу И. М. Дьякова.*

Эта история рассказана в машине ранним утром. Молодая девушка слушает и задает вопросы, пока автомобиль мчится сквозь тьму. За окном идиллический сельский пейзаж. Если бы мужчина, сидящий за рулем, сказал: «Вон там стоит замок», она бы ему поверила.

Мужчина воскрешает в памяти и собирает вместе разрозненные фрагменты истории, пытаясь удержать их в своих руках. К тому же он устал — порой он выражается довольно туманно, не слишком следит за сюжетом и дорогой, порой бывает излишне возбужден. «Ты меня понимаешь?» — поворачивается он к ней в тусклом свете спидометра.

Они едут четыре часа до Марморы под шестью звездами и луной.

И все это время она не спит, чтобы составить ему компанию.

Книга первая

Крошечные зерна

~~~

Когда мальчик просыпается рано, он видит мужчин, идущих мимо дома по дороге к Первому озеру. Он встает у окна и наблюдает: видит два-три фонаря между серебристым кленом и каштаном. Слышит стук сапог по гравию. Тридцать лесорубов в темной одежде, с топорами и маленькими свертками с едой, висящими на поясе. Мальчик спускается вниз, подходит к окну на кухне, из которого просматривается дорога. Люди движутся справа налево. И уже кажутся усталыми, еще до восхода солнца.

Ему известно, что время от времени толпа чужаков встречается со стадом коров, которых гонят на дойку с пастбища, и тогда разыгрывается молчаливая сцена вежливости: люди выстраиваются на обочине, подняв фонари, — шаг назад, и они окажутся по колено в снегу, — чтобы коровы могли лениво пройти мимо них по узкой дороге. Иногда мужчины кладут руки на теплые бока животных, чтобы погреться. Кладут руки в тонких перчатках на черно-белых коров, едва различи-
~~~

мых в остатках ночной темноты. Им приходится делать это осторожно, без малейшего намека на агрессию, у них нет на это права. В отличие от хозяина коров, эта земля принадлежит не им.

Коровы голштинской породы проходят сквозь молчаливый строй людей. Идущий за ними фермер кивает. В зимние месяцы он встречает эту странную компанию почти каждый день, и в пять утра, когда еще темно, их доброжелательность служит ему молчаливым утешением — чтобы пригнать коров сюда на дойку, ему приходится собирать их больше часа.

Мальчик, который следит за этой процессией и даже мечтает ее увидеть, уже встречал этих мужчин, работавших в миле отсюда, среди серых деревьев. Он слышал их кашель, металлический стук их топоров по холодному дереву, видел костер у ручья, где подо льдом пузырится серая вода.

По их крепким телам под легкой одеждой струится пот. Некоторые из них умирают от пневмонии или от серы в легких, попавшей туда на фабриках, где они работают в другое время года. Они спят в бараках за гостиницей «Беллрок» и почти никак не связаны с городом.

Ни мальчик, ни его отец никогда не бывали в

этих темных помещениях, где воздух пропитан запахом человеческих тел. Грубый стол, четыре койки, низкое окно. Бараки строили каждый год в декабре и разбирали следующей весной. Никто в Беллроке не знал, откуда эти люди. Об этом мальчику гораздо позже расскажет одна женщина. Связь между лесорубами и городом установилась лишь тогда, когда они появились на реке на самодельных коньках с лезвиями из старых ножей.

Для мальчика конец зимы означает голубую реку, означает исчезновение этих людей.

* * *

Он тоскует по летним вечерам, по тем мгновениям, когда выключает свет, даже маленькую матовую лампочку в коридоре рядом с комнатой, где спит отец. Тогда весь дом, кроме кухни, где горит яркий свет, погружается во тьму. Мальчик садится за длинный стол и рассматривает учебник по географии с картами разных стран, беззвучно шепча экзотические названия: Каспий, Непал, Дуранго. Закрыв книгу, он проводит ладонью по шероховатой обложке с разноцветной картой Канады.

Затем он идет через темную гостиную, вытя-

нув перед собой руку, и ставит книгу назад на полку. Потом стоит в темноте, растирая предплечья, чтобы немного взбодриться. Он борется со сном, хочет потянуть время. Жара еще не спала, и он обнажен выше пояса. Он возвращается на освещенную кухню и переходит от окна к окну в поисках ночных бабочек, прижавшихся крылышками к сетке, льнущих к яркому свету. Из своих дальних полей они увидели эту сверкающую комнату и прилетели сюда. Исследование летней ночи.

Жуки, листоблошки, кузнечики, листовертки. Патрик вглядывается в существ, которые, пролетев в теплом воздухе над землей, с глухим стуком врезаются в сетку. Он слышал их, пока читал, его органы чувств ловят эти шумы. Много лет спустя в ривердейлской библиотеке он узн*а*ет, что блестящие хрущики уничтожают кустарник, что бронзовки питаются соком гниющих деревьев или молодой кукурузы. И эти ночи внезапно обретут форму и порядок. Вместо вымышленных имен появятся официальные титулы, как если бы он перечитывал список приглашенных на бал. Конек лесной северный! Епископ Кентерберийский!

Их настоящие имена тоже звучат красиво. До-

зорщик-император. Пластинохвост точечный. Все лето он ведет учет их визитам и делает наброски тех, кто явился повторно. Это одно и то же существо, что прилетало в прошлый раз, или нет? Он зарисовывает у себя в тетради оранжевые крылья пяденицы, сатурнии луны, нежно-коричневые, словно кроличий мех, крылья непарного шелкопряда. Он не станет открывать окно и брать в руки покрытые пыльцой тельца. Он сделал это как-то раз, и отвратительный след, оставленный мотыльком — буро-розовым созданием, измазавшим цветной пыльцой его пальцы, — испугал их обоих.

При ближайшем рассмотрении они кажутся ему доисторическими существами. Их челюсти непрерывно движутся. Едят ли они каких-нибудь мельчайших насекомых, или это непроизвольные движения — так его отец жует язык, когда работает. Свет из кухни пронизывает их пористые крылья, даже зеленая персиковая тля будто присыпана пудрой.

Патрик вынимает из кармана свистульку. Если выйти во двор, можно не опасаться разбудить отца, звук просто уплывет к ветвям серебристых кленов. Возможно, ему удастся выследить эти создания. Возможно, они вовсе не безгласны,

просто он их не слышит. (В девять лет отец увидел, как он лежит на земле и прижимает ухо к сухой коровьей лепешке — внутри с шуршанием возились жуки.) Ему знакомы звучные призывы, исходящие из крошечного тельца цикад, но он жаждет беседы, жаждет услышать язык стрекоз, которым нужно преобразовать во что-то свое дыхание — так он использует свистульку, чтобы обрести голос, — каким-то образом преодолеть стену здешнего мира.

Быть может, они возвращаются каждую ночь, чтобы что-то ему объяснить? Или это он их преследует? Он выходит из темного дома и на пороге ярко освещенной кухни говорит пустынным полям: *Я здесь. Придите сюда ко мне.*

Он родился в регионе, который появился на картах только в 1910 году, хотя его семья трудилась там уже двадцать лет, а земля обрабатывалась с 1816 года.

В школьном атласе это место, закрашенное бледно-зеленой краской, не имеет названия. Река, вытекающая из безымянного озера, представляет собой простую синюю линию, и лишь двадцатью пятью милями южнее превращается в реку Напани и только из-за лесозаготовок в конце концов получает имя Депо-Крик.

Его отец работает на двух-трех фермах: рубит лес, заготавливает сено, пасет скот. Коровы переходят реку дважды в день — утром они идут на пастбище к югу от ручья, а к полудню возвращаются на дойку. На зиму скотину перегоняют в хлев, но как-то раз одна корова, стосковавшись по летнему пастбищу, направилась к реке.

Они ищут ее часа два, пока наконец отец не догадывается, где она. Он бросается к реке, крикнув Патрику, чтобы тот следовал за ним с лошадьми. Патрик едет по глубокому снегу верхом на неоседланной лошади, ведя другую лошадь на веревке и понукая их двигаться быстрее. Сквозь голые ветви деревьев он видит отца, бегущего по склону к заводи.

На середине реки стоит по грудь во льду корова их соседа. Пейзаж лишен красок. Сухие стебли репейника, серые деревья и топь, теперь белая и чистая. Отец с веревкой на плечах ползет по льду к бело-черной фигуре. Корова дергается, разбивая лед, и холодная вода выплескивается на поверхность. Хейзн Льюис замирает на месте, успокаивая животное, и ползет дальше. Он должен дважды обвязать веревкой брюхо коровы. Патрик медленно движется вперед, пока не оказывается на другой стороне полыньи. Отец

обхватывает левой рукой шею коровы и как можно глубже погружает правую в ледяную воду. На другой стороне полыньи Патрик опускает руку в воду и водит ею из стороны в сторону, пытаясь поймать конец веревки. Ничего не получается. Тогда он ложится на лед и опускает руку по плечо в воду, кисть тут же начинает неметь, и ему приходит в голову, что вскоре он уже не сможет нащупать веревку, даже если та коснется его руки.

Корова переступает ногами, куртка мальчика намокает, и холод обжигает грудь. Отец отползает назад, и они стоят на коленях по обе стороны от коровы, размахивая мокрыми руками и колотя себя по груди. Они молчат. Нельзя терять ни минуты. Отец кладет ладонь корове на ухо, чтобы хоть немного согреться. Снова ложится на снег и опускает руку вниз, его лицо в нескольких дюймах от кромки льда. Патрик, словно его зеркальное отражение, шарит рукой под водой, но снова не может поймать конец веревки.

«Сейчас я нырну. Не зевай», — говорит отец, и Патрик видит, как дергается его тело и голова уходит под воду.

Поймав свободную руку отца, лежащую на спине коровы, Патрик крепко в нее вцепляется.

Потом он окунает голову в воду и тянется вперед. Нащупывает руку отца под брюхом у коровы. Он заставляет себя оставаться под водой, пока не поймает толстую витую веревку. Он тянет за нее, но она не поддается. Он понимает, что отец каким-то образом придавил ее, что он лежит на ней. Патрик остается под водой, хотя ему нечем дышать. Отец, ловя ртом воздух, выныривает на поверхность, валится на спину — дышать трудно, в глазах резь, — внезапно понимает, что лежит на веревке, и откатывается в сторону. Патрик тянет за веревку и, упершись в лед ногами, одним рывком выбирается из воды и скользит в сторону от коровы.

Он садится, видит отца и поднимает руки вверх в победном жесте. Отец отчаянно пытается вытереть глаза и уши, прежде чем вода замерзнет, Патрик делает то же самое, втянув кисть в сухой рукав и промакивая уши тканью. Он чувствует, как подбородок и шея покрываются льдом, но это его не волнует. Отец бежит к берегу и возвращается со второй веревкой. Он привязывает ее к первой, и Патрик тянет ее к себе под коровой. Теперь туловище животного обхвачено двумя веревками.

Патрик поднимает глаза к серому утесу на бе-

регу, где над грязной, торчащей из снега сухой травой высится дуб. На голубом небе ни облачка. Мальчику кажется, что он не видел всего этого годами. До сих пор для него существовали лишь отец, черно-белое туловище коровы и страшная черная вода, обжегшая ему глаза, когда он открыл их там, внизу.

Отец привязывает веревки к лошадям. Морда коровы, стоящей по грудь в воде, ее огромный полуприкрытый глаз ничего не выражают. Кажется, она вот-вот начнет жевать от скуки. Патрик поднимает ей губу и в поисках тепла прижимает замерзшие пальцы к ее деснам. Потом выползает на берег.

Держа лошадей за поводья, они с отцом понукают их криками. Лошади, ни секунды не медля, тянут корову из реки, ломая лед. С берега Патрик видит, как она высовывает язык, и ее невозмутимость впервые уступает место озабоченности. Шагах в десяти от берега лед становится толще, веревки натягиваются и лошади встают. Они с отцом стегают их кнутом, и лошади переходят на рысь. И вот вся корова, как по мановению волшебной палочки, появляется изо льда, она лежит на боку, четыре прямые ноги торчат в стороны, ее неумолимо волокут на берег по бурым стеблям

репейника.

Они отпускают лошадей. Пытаются развязать веревки на корове, но безуспешно. Тогда отец вынимает нож и режет веревки. Животное лежит на боку, с шумом выдыхая пар в морозный воздух, потом, качнувшись, встает и глядит на них. Патрик изумленно смотрит на отца. Тот одержим бережливостью. Он не раз втолковывал мальчику один и тот же урок. Всегда развязывай веревку! Никогда не режь! Вынуть нож и разрезать веревку на куски — возмутительное расточительство.

Они бегут домой, оглядываясь, идет ли за ними корова.

— Если она опять провалится под лед, я пальцем не пошевелю.

— Я тоже, — со смехом отвечает отец.

Когда они наконец оказываются на кухне, на улице уже почти стемнело и им ужасно хочется есть.

Хейзн Льюис зажигает керосиновую лампу и разводит огонь. За ужином мальчика бьет дрожь, и отец предлагает ему спать вместе. Позже, оказавшись в постели, они не замечают друг друга, если не считать тепла под одеялом. Отец лежит так тихо, что Патрик не знает, спит он или бодр-

ствует. Мальчик смотрит, как на кухне догорает огонь.

Патрик представляет себе, как проходят зимние месяцы, и вот в разгаре лета он бледной тенью следует за своим отцом. Тот обрызгивает бензином гнезда гусениц и поджигает их. *Пых!* Серые клочья паутины исчезают в огне. Гусеницы падают в траву, у мальчика во рту кислый горелый запах. Они с отцом выискивают гнезда в вечернем свете. Патрик указывает отцу на паутину, которую тот пропустил, и они шагают дальше по пастбищу.

Он почти уснул. Еще один уголек вспыхивает и гаснет в темноте.

* * *

В сарае Хейзн Льюис обводит на дощатой стене тело мальчика зеленым мелом. Потом натягивает провода внутри контура, словно по-своему располагает вены в теле сына. Мышцы из кордита, вместо позвоночника запал из черного пороха. Таким Патрик помнит отца: тот изучает контур его тела, от которого он только что отделился, шагнув вперед, а в это время тлеющий запал взрывает участок дощатой стены, где была его голова.

Хейзн Льюис был застенчивым, замкнутым человеком, равнодушным к благам цивилизации, если те не попадали в сферу его интересов. Он мог сесть верхом на лошадь и чувствовать себя так, словно едет в поезде, словно плоти и крови вовсе нет.

В зимние месяцы Патрик носил еду на участок к северу от ручья, где отец, затерявшись среди белых холмов, с утра до вечера рубил в одиночку лес. А когда Патрику исполнилось пятнадцать, отец вдруг круто изменил свою жизнь. В какой-то момент, рубя сосну и слыша только стук топора да отзвуки эха, он, должно быть, вообразил, что все вокруг него разом взлетело в воздух: деревья, вечная мерзлота и печи, в которых томится кленовый сироп, — со всех ветвей в лесу слетел снег. Он прекратил работу, отправился домой, расшнуровал огромные ботинки и навсегда убрал подальше топор. Он выписал книги и съездил в Кингстон за расходными материалами. Увидев взрыв в лесу, он выдернул топор из соснового ствола и решил изменить свою жизнь. Купил динамит, воспламенители, запалы, исчертил диаграммами стены сарая, а затем унес взрывчатку в лес. Он установил заряды на обледеневшей скале, поросшей лесом. Капсюль-детонатор вы-

плюнул пламя в гильзу, и у него на глазах воздух содрогнулся и снег обвалился с ветвей. То, что сдвинулось с места, послужило диаграммой, изображавшей радиус взрыва.

Перед весенним ледоходом Хейзн Льюис отправился в Ратбан и явился в правление лесозаготовительной компании. Там он продемонстрировал свои способности, переместив бревно точно в намеченное место и взорвав полтонны глинистого сланца, и был принят на работу вместе со сплавщиками. Он обеспечил себе место на лесозаготовках, которые велись на озерах Депо и реке Напани. Когда через несколько лет компания закрылась, он переехал в другое место и работал подрывником на месторождениях полевого шпата близ Вероны и Годфри в компании «Ричардсон Майнз». Самую длинную речь в своей жизни он произнес в Ратбане, когда рассказывал сотрудникам компании, что он умеет делать. Тогда он высказался насчет того, что, на его взгляд, на заготовке леса есть только два подходящих занятия — работать взрывником или поваром.

К цепочке из пяти озер, от Первого Депо до Пятого, зимой прибывали лесорубы и исчезали в барачных поселках, пройдя пешком двадцать миль по земле, которой они не знали. Весь фев-

раль и март в центре озер росли пирамиды из бревен, которые доставляли сюда на санях. Работа начиналась еще до рассвета — в сильнейшую пургу, в жестокий мороз — и заканчивалась в шесть. Сосны валили двуручными пилами. Вальщики, согнувшись пополам, пилили ствол низко над землей. Эта работа считалась самой тяжелой. Некоторые пользовались шведскими пилами, резавшими древесину в два раза быстрее, а переходя в следующий лагерь, скатывали узкое полотно в рулон и приделывали к нему новые рукоятки в том лесу, где оказывались.

В апреле, когда на озере таял лед, начинался сплав леса, самая легкая и самая опасная работа. От Беллрока до Напани в местах сужения реки были расставлены люди. Около мостов или больших камней на случай затора дежурило по два-три человека. Если застрявшее бревно не убирали вовремя, позади него нагромождались другие бревна и вся река вставала. Здесь сплавщики были бессильны, и тогда посыльного верхом на лошади отправляли за подрывником. Двадцатифутовое бревно могло внезапно выскочить из воды и проломить человеку грудь.

Хейзн Льюис с сыном подъехали к расщелине в скале. Старший обошел вокруг затора. Он высвер-

лил отверстие, вложил туда гильзу с динамитом и поджег фитиль. По его команде мальчик криком предупредил об опасности, и бревна взлетели в воздух и рухнули на берег. Река была свободна.

В сложных случаях Патрик снимал одежду и намазывался машинным маслом от паровой лебедки. Он нырял в ребристую воду и плыл вдоль бревен. Каждые полминуты он вскидывал руку вверх, чтобы успокоить отца. В конце концов мальчик находил бревно, на которое указывал отец. Он ловил брошенный ему заряд, обжимал воспламенитель вокруг шнура зубами и поджигал порох.

Вынырнув из воды, он шел к лошадям и вытирался полотенцами из рюкзака, ни разу не оглянувшись, как его отец. За спиной у него взрывалась река, и ворон сдувало с деревьев, как листья.

Сплав леса продолжался месяц, и Патрик наблюдал, как люди с длинными шестами в руках проплывают мимо на бревнах по направлению к Яркеру и дальше к Напани, откуда сложенные бревна отправляли на лесопилку. Он всегда был рядом с отцом. Патрик нежился в лучах солнца у моста, они ждали.

В полдень по дороге к Первому озеру приходил

пешком повар с двумя ведрами. В одном был чай, в другом — толстые сандвичи со свининой. Крик ворон, учуявших еду, был сигналом, извещавшим о его появлении, и люди выходили ему навстречу из-за излучин реки. После обеда повар забирал оба пустых ведра, вспрыгивал на одно из проплывавших у берега бревен и возвращался по течению назад в лагерь. Он стоял, выпрямившись, посреди реки, двигаясь с той скоростью, с какой его несла вода. Он проплывал под мостом, не меняя позы, хотя до перекрытий оставалось не больше дюйма, кивая лесорубам на берегу, досадуя на вечное присутствие ворон. И соскакивал с бревна в лагере на Гусином острове, не замочив ботинок.

Хейзн читал свои брошюры и сушил рассыпанный на камне кордит. Он был мрачен даже в компании сына. Все его силы уходили на мысли о запальном шнуре, огонь по которому за две минуты пройдет под дощатым настилом до двора, обогнет стволы деревьев и окажется в чьем-то кармане. Он хранил этот образ в голове. Сумеет ли он это сделать? Прикрепить шнур к штанине брюк. Возможно, кто-то будет спать у костра, а тлеющий шнур, засунутый в карман его рубашки, взорвет его сердце. В его размышлениях шнур

всегда шел по земле зигзагами, как нос гончей, поджигая лесную подстилку, пока она не вспыхивала красным лишайником.

Хейзн Льюис ничему не учил своего сына — никаких объяснений, никаких теоретических основ. Мальчик наблюдал за тем, как отец готовит заряды или аккуратно убирает снаряжение в деревянный ящик. Тот никогда не носил на себе ничего металлического — ни часов, ни ремня с пряжкой. Он, со своими нехитрыми устройствами, стал независимым и настолько незаметным, насколько это было возможно. Взрывы выбрасывали бревна из воды, не повреждая их. По всей системе озер Депо и дальше по реке Мойра, куда его иногда приглашали, он оставил в граните множество полудюймовых отверстий. Предельно скромных и незаметных. Работа дятла. Хейзн Льюис никогда не носил шляпы. Он был высоким — шесть футов шесть дюймов — и грузным. Плохо управлял лошадьми, а впоследствии грузовиками. Мог заложить динамит с закрытыми глазами. Каждый вечер тщательнейшим образом стирал свою одежду на случай, если в ней остались крошечные зерна взрывчатки. Эта одержимость вызывала у Патрика презрение. Однажды вечером отец снял рубашку и швырнул

в костер. Раздался шипящий звук, и на колени лесорубам посыпались искры. Были и другие неожиданные уроки.

Позже Патрик с удивлением обнаружил, что научился многим важным вещам, — так дети, наблюдая, учатся тому, как взрослые надевают шляпу набекрень или приближаются к чужой собаке. Он знал, какой разрушительной силой обладает кусок динамита размером с лягушку-быка. Но он усваивал эти знания на расстоянии. Его отец обретал дар речи лишь тогда, когда во время лесосплава распоряжался танцами в гостиницах Яркера и Тамуэрта. Его неизменно приглашали, и он невозмутимо поднимался на сцену, как будто выполнял свой долг, и разражался куплетами, расхаживая между скрипок и гитар, успевая проговорить последнюю фразу с такой скоростью, чтобы попасть точно в такт. Немногословный во всем остальном, его отец был столь же немногословен в роли распорядителя танцев. Его слова равнодушно слетали на танцевальный пол, а мальчик стоял у стены, беззвучно повторяя куплеты про себя. Ни один мускул не напрягался на крупном теле отца, когда он выкрикивал: *«Красная тележка не шибко мчит, колеса заедает, и ось скрипит».*

Бесстрастная речь. Патрик видел себя на сцене: он расхаживает взад и вперед, дерзко размахивая согнутыми руками. *«Птичка, улетай — в**о**рон, прилетай — в**о**рон, шаг вперед — птичка, сделай поворот»*, — бормочет он себе под нос позже, при свете дня.

~~~

Однажды зимней ночью одиннадцатилетний Патрик вышел во двор из длинной кухни. На сетке освещенного окна бился голубой мотылек, но очень скоро исчез в темноте. Вряд ли он улетел далеко. Взяв керосиновую лампу, Патрик вышел из дому. Редкостный зимний мотылек. Он порхал над снегом, точно раненый, и Патрик без труда мог следовать за ним. На заднем дворе он его потерял, бирюзовый мотылек взмыл в небо, исчез из круга света керосиновой лампы. Что делал здесь мотылек зимой? Они не попадались ему на глаза уже несколько месяцев. Возможно, он появился на свет в курятнике. Поставив лампу на камень, Патрик посмотрел вдаль. Там он увидел то, что сначала принял за светлячков. Светлячков среди деревьев у реки. Но ведь сейчас зима! Он двинулся вперед, взяв лампу.
~~~

Путь оказался длиннее, чем он думал. Ноги в расшнурованных ботинках по щиколотку проваливались в снег. Одна рука в кармане, другая держит лампу. К тому же луна, потерявшаяся в плотных облаках, не освещала путь. Он шел на янтарное мерцание, уже понимая, что эти огоньки не могут быть светлячками. Последний из них умер где-то в складках его носового платка. (Через много лет Клара, занимаясь с ним любовью в машине, собрала его семя в носовой платок и выкинула в придорожные кусты. «Эй, светлячок!» — произнес он со смехом, ничего не объяснив.)

Он пробирался сквозь сугробы, обходил гранитные глыбы и оказался в лесу, где снег был не таким глубоким. Впереди по-прежнему мерцали огоньки. Слышался смех. Теперь Патрик знал, что это. Он осторожно крался по знакомому лесу, словно по комнатам дома, где обитают привидения. Он догадался, кто там, но не знал, что именно увидит. Потом он вышел к реке. Оставил лампу под дубом и в темноте начал двигаться к берегу.

Лед сверкал огнями. На миг ему показалось, что он попал на шабаш ведьм или на один из странных друидских ритуалов, которые он видел в любимом учебнике по истории. Но даже мальчика одиннадцати лет, в лесу, после полуночи,

эта сцена ничуть не испугала. В ней было что-то радостное. Вроде подарка. Около десяти мужчин, катаясь на коньках, играли в какую-то игру. Один гонялся за всеми остальными, и как только он до кого-то дотрагивался, тот становился преследователем. В руках у каждого были стебли камыша с горящими верхушками. Это они освещали лед и мерцали за деревьями.

Незнакомцы мчались по льду, разъезжались в стороны, падали, меняли направление, чтобы убежать от погони, но ни на миг не прекращали игры. Когда они сталкивались, на лед и их темную одежду летели искры. Это и вызывало взрывы смеха — один из них остановился и попытался вытрясти кусок обгорелого стебля из рукава, крича другим, чтобы они остановились.

Патрик стоял как зачарованный. Кататься по реке ночью, ловко двигаясь в темноте, озаряя волшебным светом берег и серые кусты, *его* берег, *его* кусты. Один из них, согнувшись, проехал под длинной ветвью, вмерзшей в лед, — пучок сухого камыша у него за спиной казался пылающим петушиным хвостом.

Мальчик знал, что это лесорубы из лагеря. Ему хотелось взяться с ними за руки и помчаться на коньках до города, сбавляя скорость в узких

местах и под мостами, зная, что они вернутся к темным баракам у лесопилки.

Дело было не только в удовольствии от катания. Они катались и днем. Но ночью все было по-другому. Толстый лед был крепок, и можно было, не боясь, высоко подпрыгнуть и с грохотом опуститься на его поверхность. Пучки камыша вместо фонарей не сдерживали стремительного бега. Скорость! Романтика! Один из конькобежцев вальсировал с факелом в руке…

Для одиннадцатилетнего мальчика, прожившего всю жизнь на ферме, где день был посвящен труду, а ночь отдыху, это было необыкновенное зрелище. Но он пока не научился доверять себе и этим чужакам, говорившим на другом языке, и потому не вышел из своего укрытия и не присоединился к ним. Он побрел назад через лес и поле с лампой в руке. Он чувствовал, как медленно и неуклюже шагает, ломая наст.

Так, на этом этапе жизни, разум Патрика опережал его тело.

Мост

В пять утра грузовик везет огонь по центру Торонто, направляясь по Дандас-стрит на север, к Парламент-стрит. На грузовой платформе стоят трое мужчин и смотрят в проплывающую мимо темноту — в эти полчаса, оставшиеся до работы, их мышцы так расслаблены, что они не чувствуют ни ног, ни рук, прижатых к телам и заднему борту «форда».

На зеленой двери грузовика желтыми буквами написано «ДОМИНИОН БРИДЖ КОМПАНИ». Но сейчас на грузовой платформе видно только пламя, горящее на металлической подставке размером три на три фута, там варится в котле гудрон, оставляя в воздухе едкий запах для любого, кто выйдет на улицу ранним утром.

Грузовик с грохотом несется под склоненными деревьями, иногда останавливается на перекрестках, на платформу вспрыгивают другие рабочие, и вскоре их уже восемь, огонь потрескивает, горячий гудрон то и дело брызжет сзади на шею или ухо. Вскоре их уже двенадцать, они стоят вплотную друг к другу и молчат.

Над землей начинает брезжить рассвет. Они

начинают различать собственные руки, текстуру ткани на куртках, деревья, которых они прежде не видели, но знали, что они здесь. В конце Парламент-стрит грузовик сворачивает на восток, минует Роуздейлфилл и направляется к строящемуся виадуку.

Люди спрыгивают с грузовика. Из-за того что вся дорога в выбоинах, фары грузовика и пламя на платформе раскачиваются, шипит расплавленный гудрон. Грузовик движется так медленно, что люди в холодном утреннем воздухе — хотя сейчас лето — идут быстрее.

Позже они сбросят куртки и свитера, затем, к одиннадцати часам, — рубашки и склонятся над черными реками гудрона только в брюках, башмаках и кепках. Но сейчас повсюду, на машинах и тросах, лежит тонкий слой инея, а лужи, по которым они ступают, покрыты ломким льдом. Тьма быстро испаряется. Когда становится светлее, они видят свое дыхание, выдыхая прозрачный воздух. У виадука грузовик наконец останавливается и гасит фары.

Мост растет, как во сне. Он свяжет восточный конец Торонто с центром города. По нему через долину реки Дон пойдут автомобили, вода и электричество. Пойдут поезда метро, которых еще

никто не придумал.

Днем и ночью. Осенью и в снег. Они всегда работают — лошади, вагонетки и люди, приехавшие на Данфорт-сайд в дальнем конце долины.

Сохранилось более четырех тысяч фотографий моста, снятых с разных позиций на разных этапах его строительства. Его опоры уходят в грунт на глубину пятьдесят футов, сквозь глину, сланец и плывун, при этом на поверхность извлекается сорок пять тысяч кубических метров земли. Вскоре каркас моста одевается сетью строительных лесов.

В неровном свете дня люди карабкаются по лабиринту конструкций из светлого дерева. Человек — продолжение молота, сверла, пламени. В его волосах дым от сверла. Шапка улетает в долину, перчатки похоронены в каменной пыли.

Потом приходят новые люди, электрики, они опутывают сетью проводов пять арок моста, устанавливают невиданные трехламповые светильники, и 18 октября 1918 года строительство моста завершено. Он красуется в воздушном пространстве.

Мост. Мост. Нареченный в честь принца Эдуарда. Виадук на Блор-стрит.

Во время торжественной церемонии некий

велосипедист прорывается сквозь полицейский кордон. Первый человек из публики. Не автомобиль с официальными лицами, а этот аноним, несущийся на велосипеде к восточной оконечности города. На фотографиях он кажется расплывчатым пятном, воплощающим стремление к цели. Его влечет нетронутость моста, роскошь неизведанного пространства. Он дважды делает круг — связка лука, висящая у него на плече, взлетает под косым углом — и продолжает путь.

Но он не был первым. Прошлой ночью на мост пришли рабочие и, оттеснив охранников, поставленных туда накануне официальных торжеств, двинулись вперед с мерцающими огнями — свечами в память о погибших, — как волна цивилизации, как рой летних насекомых над долиной.

Велосипедист в стремительном полете заявил свои нрава на мост расплывчатым пятном на фотографии, в одиночку и беззаконно. И был встречен на другом конце бурными аплодисментами.

К западу от моста лежит Блор-стрит, к востоку — Данфорт-авеню. Раньше там были проселочные грунтовые дороги, в 1910 году их сделали

лежневыми, а теперь их покрывают гудроном. В землю вгоняют кирпичи, между ними тонкой струйкой сыплют песок. А сверху кладут гудрон. Гудронщики — *bitumiers, bitumatori,* — встав на колени, налегают всем телом на деревянные планки, которыми затирают гудрон. Его запах пропитывает пористую ткань одежды. Под ногтями неизменная черная кромка. Под коленями кирпичи. Гудронщики, пятясь, ползут к мосту, их тела распластаны над вязкой черной рекой, в головах туман от испарений.

Эй, Караваджо!

Молодой человек встает с колен и оглядывается на солнце. Он направляется к бригадиру, две деревянные планки, висящие на кожаных ремешках у него на поясе, раскачиваются у колен при каждом шаге. Все носят свои инструменты с собой. Годом позже Караваджо бросит работу, перережет ремешки охотничьим ножом и выбросит планки в полузастывший гудрон. Но теперь он, кипя от гнева, возвращается назад и снова встает на колени. Еще одна стычка с бригадиром.

Весь день они ползают по гудрону, по черной реке шириной двадцать ярдов, которую разлили сегодня утром. На солнце она сверкает и делается более податливой. Школьники отщипывают

кусочки вара и жуют, сначала остужают в руке, а после отправляют в рот. Вар помогает набрать побольше слюны для соревнований по плевкам. Мужчины швыряют в черную массу консервные банки с бобами, чтобы разогреть их к ланчу.

Зимой снег поглощает запах гудрона, запах осмоленного дерева. Под недостроенным мостом течет река Дон, в недавно возведенные опоры бьется лед. Зимой рабочие расходятся утром по местам, страшась белизны. Где кончается земля? На краю моста есть участки, где зимними ночами — самая плохая смена — приходится вколачивать гвозди сквозь слой снега. Строители моста балансируют на стойках, орудуя молотками по звуку, не видя гвоздя.

* * *

Пока мост возводился, начальник строительства Роуленд Харрис, перед тем как отправиться домой, всегда просил отвезти его к виадуку, чтобы немного там побыть. В полночь недостроенный мост через долину казался безлюдным — его силуэт освещали только фонари. Но там всегда работала ночная смена из тридцати-сорока человек. Харрис вышел из машины, закурил сигару и направился к мосту. Он любил этот виадук. Это

было его первое детище как начальника строительства, многое было задумано им еще до того, как он вступил в эту должность, и он сумел отстоять свои идеи. Это Харрис предложил, чтобы по нижней эстакаде моста шли не только машины, но и поезда, а также подавалась вода в центр города с водоочистной станции на востоке. Вода была великой страстью Харриса. Он хотел, чтобы гигантская водопроводная магистраль пересекла долину по виадуку.

Пробравшись за ограждение, он подошел к рабочим. Почти никто из них не говорил по-английски, но они знали, кто он такой. Иногда его сопровождал Помфри, чудаковатый архитектор из Англии, который впоследствии спроектирует для начальника строительства Харриса одно из самых грандиозных зданий в городе — водоочистную станцию на его восточной окраине.

Ночь давала простор мыслям Харриса. Ночь убирала подробности, мешавшие сосредоточиться на форме. Нередко Харрис приводил с собой Помфри. Проникнув за ограждение, они оказывались на первом уровне моста, который через шестьдесят футов кончался в воздухе. Ветер дул им навстречу с первобытной силой. Все, кто находился на мосту, должны были работать со

страховкой. Харрис, пробиваясь к сознанию Помфри, рассказывал пятифутовому англичанину о своих планах. Прежде чем увидеть реальный город, его нужно вообразить — в этом случае слухи и вымыслы служат чем-то вроде географических карт.

Однажды они приехали на мост в одиннадцать часов вечера, прошли за ограждение и в очередной раз пристегнулись к страховочным канатам. Так они могли, стоя на самом краю моста, оценить работу по возведению опор и стальных пролетов. На мосту горел костер, у которого собрались рабочие ночной смены. Они подбрасывали в него обломки досок и другой строительный мусор, чтобы согреться перед тем, как в темноте вернуться на самый край моста.

Они работали на деревянной облицовке следующей опоры, куда потом должны были залить бетон. Пока они пилили и стучали молотками, свет факелов, прикрепленных к концевой опоре моста, колебался от ветра. У них над головой, на деревянном настиле, строители тащили огромный воздушный компрессор «Ингерсолл-Ранд» и кабель.

Апрельская ночь 1917 года. Харрис и Помфри на мосту, под темным ветром. Помфри, повернув-

шись на запад, внезапно замер. Он протянул руку и дотронулся до плеча Харриса — жест, которого он раньше себе не позволял.

— Смотрите!

По мосту шли пять монахинь.

За сталелитейными мастерскими на прохожего сразу же набрасывался порывистый ветер. Монахини миновали первую группу рабочих, сидевших у костра. Автобус, подумал Харрис, вероятно, высадил их у Касл-Франк, и монахини, растерявшись в столь поздний час, побрели в темноте не тем путем.

Они прошли мимо черной машины под деревьями и, весело переговариваясь, пробрались за ограждение и оказались на территории, о существовании которой не подозревали, — на временной платформе, возведенной над опорами моста, среди рабочих ночной смены. Они видели костер и людей. Кто-то из рабочих замахал руками, чтобы они вернулись. К вагонетке был привязан мул. Из-за шума и вибрации машин настил у них под ногами раскачивался. Пахло креозотом. Какой-то человек умывался над ведром с водой.

Когда монахини подошли к тридцатиярдовой отметке на мосту, их разметал ветер. Он бросал их на бетономешалки и паровые экскаваторы, швырял из стороны в сторону, грозя перекинуть через ограждение.

Несколько мужчин, подхватив монахинь, натянули им на плечи кожаные ремни, но две из них остались непривязанными. На другом конце моста Харрис с Помфри беспомощно наблюдали, как порыв ветра поднял одну монахиню в воздух и отбросил к компрессору. Она, пошатываясь, встала, но другой порыв, налетевший сбоку, протащил ее по бетону и перебросил через ограду моста. Она исчезла в темноте у третьей опоры, в воздушной бездне, в которой не могло удержаться ничего, только иногда пролетали оброненные кем-нибудь заклепка или молоток.

И на мосту исчез страх. Самое плохое, невероятное, случилось. Монахиня упала с виадука принца Эдуарда еще до того, как он был достроен. Мужчины в стружках или в гранитной пыли прижимали к себе женщин. На дальнем конце моста начальник строительства Харрис смотрел на обезумевший путепровод. Его первенец оказался убийцей.

Мужчина, висевший под центральной аркой,

увидев приближавшийся силуэт, мгновенно понял, что его канат не выдержит двоих. Он вытянул руку, пытаясь поймать падающую фигуру, другой же, чтобы ослабить резкий толчок, ухватился за металлическую трубу над головой. Под тяжестью дополнительного веса плечевая кость выскочила из сустава, и мужчина вскрикнул. Те, кто был наверху, могли принять этот крик за крик сорвавшейся с лесов женщины. Страховочный пояс сдавил грудь с такой силой, что сердце подпрыгнуло к горлу. Правую руку пронзила невыносимая боль, но вошедшая в привычку координация движений осталась безупречной, и в следующий миг он уже бережно прижимал к себе темную фигуру.

Молодая женщина в черном, с побелевшим лицом. Он разглядел это в неровном свете факела, горевшего пятнадцатью ярдами выше. Они висели на страховке, вращаясь над долиной, его вывихнутая рука бессильно повисла вдоль тела, другой он крепко прижимал к себе женщину. Она была в шоке, ее широко открытые глаза смотрели на Николаса Темелкова.

«Кричите, леди, пожалуйста», — шепнул он, превозмогая боль. Он попросил обнять его за плечи, чтобы снять вес со здоровой руки. Они

раскачивались на ветру. Женщина не издала ни звука, хотя ее блестящие глаза смотрели прямо на него. «Кричите, пожалуйста». Но она не могла.

Этой ночью длинные желоба, по которым спускали жидкий бетон, еще не использовались, и их пустые горловины болтались в нескольких футах от нижнего перекрытия. Их верхняя часть находилась футах в десяти от Николаса. Он знал это не глядя, знал, хотя туда не доходил свет факела. Если попытаться соскользнуть по этим желобам вниз, то под их весом они примут вертикальное положение, а это опасно. Значит, они должны добраться до нижнего настила моста, где уже возведены леса для будущего водопровода.

«Нам нужно раскачаться». Теперь она держала его за плечи, а ветер швырял их из стороны в сторону. Два чужих человека, крепко обнявшись, принялись раскачиваться все сильнее, еще и еще, мимо соблазнявшего их желоба, пока не приблизились к нижнему уровню стропил. Его единственная здоровая рука была свободна. Теперь женщине придется спасать себя самой.

Когда они оказались у нижнего настила, женщина по-прежнему была в шоке, ее глаза лихорадочно блестели. Одежда в беспорядке, покрывало монахини сбилось набок, стриженые

волосы взъерошил пронизывающий ветер долины. Николас чуть не сорвался с лесов, но она его спасла. У него иссякли силы. Она обняла его и пошла вместе с ним, как возлюбленная, вдоль неосвещенного нижнего парапета к западному концу моста.

Вверху над ними стояли люди у костра и возбужденно переговаривались. Женщины, все еще привязанные к мужчинам, не смотрели на каменную кромку моста, откуда она упала в темноту. Эта, с маленьким шрамом у носа… она вечно падает — то из окон, то споткнувшись о стулья. Ей всегда не везет.

Шофер начальника строительства спал в машине, когда мимо него прошли Темелков с монахиней, вернувшиеся с моста на твердую землю. Прежде чем выйти на Парламент-стрит, они свернули на юг, пройдя напрямик через кладбище. Он чуть не потерял сознание, и она поддерживала его, пока он стоял, прислонившись к могильной плите. Она заставила его выпрямить руку и сжать ее в кулак. Потом подложила под нее ладони, устроив нечто вроде стремени, и дернула вверх с такой силой, что он снова вскрикнул. Она толкала его руку вверх всем телом, со стоном, словно пытаясь приподнять Николаса, а затем, обхватив

его руками, крепко сжала. Его лицо покрылось испариной. «Дайте мне… дайте мне что-нибудь выпить». Сняв покрывало, она примотала его руку к туловищу. «Угол Парламент и Дандас… через несколько кварталов». Она пошла к Парламент-стрит вместе с ним. Она не знала, куда они идут. На Истерн-авеню она постучала в дверь, на которую он указал. Все его требования были краткими: кричите, раскачивайте, стучите, дайте выпить. Через некоторое время дверь открыл мужчина и впустил их в ресторан «Охридское озеро». «Спасибо, Коста. Иди спать. Я запру». И незнакомый мужчина, его друг, пошел назад по лестнице.

Она стояла в темноте посреди ресторана. Столы и стулья были сдвинуты к одной стене. Темелков вынул из-под стойки бутылку бренди и взял одной рукой две маленькие рюмки. Подвел ее к столику, потом вернулся назад и, зайдя за цинковую стойку, включил свет около ее столика. На стене были нарисованы гребни волн.

Она и сейчас не сказала ни слова. Он вспомнил, что она не кричала даже тогда, когда сорвалась с моста. Кричал он.

* * *

Все, кто работает на мосту, знают Николаса Темелкова. Он безрассудно смел. Ему поручают самую сложную работу, и он за нее берется. Он не боится высоты. Он одиночка. Он закрепляет веревки, стряхивает пыль со снаряжения и прыгает с моста, как ныряльщик с корабля. Веревка с шумом разматывается, он гасит скорость руками в защитных перчатках. Вот он твердо стоит на ногах и вдруг падает вниз с бешеной скоростью и грацией, используя ветер, чтобы приземлиться на любом участке моста и проверить на прочность заклепки и клапаны, степень высыхания бетона под несущими плитами и опорными камнями. Он повисает в воздухе, защелкнув карабин на верхней веревке, а затем перестегивает его на нижнюю. Его трудно найти даже на фотографиях из архива. Вновь и вновь на передержанной фотографии вы видите только перспективу, и взгляду приходится искать на фоне неба крошечную точку, это он и есть, восклицательный знак где-то между мостом и рекой. Он пролетает рядом со стальными арками в форме полумесяца. Они связывают мост воедино. Момент кубизма.

В сложных делах ему нет равных: переправить

с опор моста на эстакаду инструменты или доски, которые он толкает в воздухе перед собой, будто плывет по реке. Он, как паук, соединяет всех. Он видит людей прилипшими к разным предметам — ветер прижимает их к металлу, который они клепают, или к деревянной опалубке, в которую они вколачивают гвозди, — но он лишен их страха. Он всегда носит с собой собственное снаряжение и волочит за собой свои канаты и блестящие крюки. В обеденный перерыв он ест на мосту, сидя на бухте троса. Если он кончает рано, то едет на велосипеде на Парламент-стрит к ресторану «Охридское озеро» и сидит там в темноте, словно устал от света. Устал от пространства.

Его работа так необычна и так сберегает время, что ему платят по доллару в час, тогда как другие рабочие получают по сорок центов. Но ему не завидуют. Никто не стремится делать и половину тех вещей, что делает он. В ночную смену он получает доллар двадцать пять центов в час, то взлетая на стропила эстакады с факелом в руке, то устремляясь вниз, как падающая звезда. Ему не нужно видеть конкретные предметы, у него в голове карта этого пространства, ему известно расположение опор моста, ширина пролетов в секундах движения — центральный пролет моста

двести восемьдесят один фут и шесть дюймов, два боковых пролета по двести сорок футов и два крайних пролета по сто пятьдесят восемь. Он проскальзывает в отверстия на нижнем настиле моста и поднимается по канату вверх. Он точно знает, на какой высоте над рекой сейчас находится, знает длину канатов, знает, сколько секунд он может находиться в свободном падении. Ему не важно, день сейчас или ночь, он мог бы работать с завязанными глазами. Черное пространство — это время. Раскачавшись, он через три секунды вытягивает ноги, чтобы приземлиться на краю другой бетонной опоры. Он точно знает, где находится, как будто он капля ртути, катящаяся по карте.

* * *

Попугай из города Саут-Ривер, сидевший в клетке у входа в ресторан «Охридское озеро», был слишком заинтригован событиями той ночи, чтобы позволить накрыть себя куском ткани. Посреди ресторана, в темноте, неподвижно стояла женщина. Мужчина за стойкой включил свет. Николас Темелков, сделав глоток спиртного, приблизился к птице. «Ну, Элисия, дорогая, как дела?» И, не дождавшись ответа, отошел. В паль-

цах левой руки он осторожно держал две рюмки, а локтем прижимал к себе бутылку.

Он что-то бормотал себе под нос в пустом зале, словно продолжая разговор с попугаем. С полудня до двух здесь ели и пили толпы посетителей. Хозяин Коста и его официант устраивали для публики шумные представления — босс гонялся за официантом по залу, выкрикивая оскорбления. Николас помнил, как пришел сюда в первый раз. Мужчины в темных пальто, разговоры о Европе.

Он налил в рюмку бренди и пододвинул женщине.

— Можешь не пить, если тебе не хочется, но если ты не против, выпей. Расценивай это как проявление вежливости. — Он быстро опрокинул свою рюмку и налил другую. — Спасибо, — произнес он, с любопытством ощупывая руку, словно она была чужой.

Женщина покачала головой, чтобы показать, что с рукой не все в порядке, что ею следует заняться.

— Хорошо, но не сейчас. Сейчас я хочу немного посидеть. — Воцарилось мол-

чание. — Просто выпить и спокойно поговорить... Здесь всегда ночь. Люди приходят сюда с яркого света, и в темноте им приходится двигаться медленно.

Он выпил еще.

— Просто чтобы успокоить боль, — пояснил он.

Она улыбнулась.

— А теперь музыка.

Он легко встал из-за стола, зашел за стойку и включил радио. Приглушил звук, поймал эстрадную музыку, вернулся за столик и сел напротив ее.

— Ужасно болит. Но мне хорошо. — Он откинулся на спинку стула и поднял рюмку. — Мы живы.

Она подняла свою рюмку и выпила.

— Откуда это у тебя? — Он указал на шрам у носа.

Она отодвинулась.

— Не стесняйся… говори. Тебе нужно говорить.

Ему хотелось, чтобы она раскрылась, пусть даже она рассердится. Хотя он не хотел, чтобы она сердилась. Здесь, в ресторане «Охридское озеро», он чувствовал поразительную легкость, чувствовал спиной решетку стула, чувствовал покрывало монахини, туго охватывающее его руку. Он всего лишь хотел быть рядом с ней этой ночью, чтобы заботиться о ней, осторожно вывести ее из шока.

— У меня, наверное, шрамов двадцать по всему телу, — произнес он. — Один здесь, возле уха. — Он повернулся и наклонил голову, чтобы свет со стены упал на него сбоку. — Видишь? И еще один под подбородком, я сломал челюсть. Всему виной размотавшийся кабель. Он едва не убил меня, разбил мне челюсть. У меня еще много шрамов. На коленях… — Он продолжал перечислять. — Ожоги от вара на руках. Гвозди в икрах.

Они выпили, он налил ей еще, по радио пел женский голос. Монолог Темелкова звучал на фоне песни, он говорил и напевал вполголоса и смотрел в лихорадочно блестевшие глаза монахини.

Она впервые в македонском баре, вообще в каком-нибудь баре, с мужчиной, пьющим бренди. Полированные столы слабо поблескивают, дневные скатерти в красную клетку сняты и уложены в стопку. Над раздаточной нишей натянут тент. Она вдруг понимает, что темнота изображает ночь в Македонии, где посетители сидят за столиками на улице. Светится только бар, звезды и часы, украшенные оранжевыми и красными электрическими лампочками. Когда бы посетители сюда ни зашли, они оказываются в старом внутреннем дворике на Балканах. Скрипка. Оливковые деревья. Неизменный вечер. Теперь она понимает, почему здесь обои похожи на стены увитой виноградом беседки. И попугай обретает язык.

Николас продолжал говорить, сбиваясь на строчки из песен, звучавших по радио, — по ним он учил английские слова и произношение. Он говорил о себе, усталый, не замечая, что в его

речи смешиваются два языка, женщина слушала все и старалась все запомнить. Ее живые глаза внимательно оглядывали ресторан. Он заметил, что она тихонько барабанит пальцами в такт музыке.

Он прислонился головой к стене, голубые глаза неотрывно смотрели на него. Он сделал еще глоток и выдохнул в рюмку, чтобы жжение в глазах не позволило ему уснуть. Потом он снова посмотрел на нее. Сколько ей лет? Ее каштановые волосы так коротки, так непривычны к воздуху. Ему захотелось провести по ним рукой.

— Мне нравятся твои волосы, — сказал он. — Спасибо… за помощь. За то, что согласилась со мной выпить.

Она с серьезным видом наклонилась вперед и стала напряженно вглядываться в его лицо. Слова готовы были вырваться наружу. Ей хотелось узнать его имя, которое он забыл сказать. «Мне нравятся твои волосы». Он прислонился плечом к стене и попытался поднять веки. Но они закрылись. Он погрузился в крепкий сон, возможно на несколько часов. Она могла бы вертеть его, как куклу, и он бы не проснулся.

Она чувствовала себя так, словно она единственный живой человек в этом здании. В этой искусственной темноте. От одного-единственного глотка спиртного на языке остался отвратительный вкус, поэтому она зашла за цинковую стойку и открыла кран, чтобы сполоснуть рот. Потом немного покрутила ручку приемника, но вернула ее на место. Она искала песню, которую он напевал под звуки радио, голос певца был сильным и в то же время сонным. Она увидела себя в зеркале. Женщина, выставившая напоказ свои волосы, пойманная с поличным. Она сделала то, что хотел сделать он: легко провела рукой по волосам. И отвернулась от своего отражения.

Нагнувшись вперед, она прижалась лицом к холодной цинковой стойке. Даже сейчас, после полуночи, ее лихорадило. Прохлада на ее щеке, на веке. Она повернула голову, чтобы охладить лоб. Цинк был границей другой страны. Она приложила ухо к серому океану, который помнил дневные стаканы, помнил пролитую жидкость и сухую ткань. Исповедальня. Табула раса.

Вернувшись к столику, она устроила мужчину поудобнее, чтобы он не упал на больную руку. «Как тебя зовут?» — прошептала она. Потом наклонилась, поцеловала его и принялась рас-

хаживать по залу. По этому саду. Незнакомцы целуются нежно, как мотыльки, подумала она.

* * *

Когда на долину спускается туман, люди стараются держаться ближе друг к другу. Придя на мост, они ступают на дорогу, исчезающую в молочной белизне. Что там, на другой стороне? Они движутся группами по три-четыре человека. Многие погибли на строительстве моста. Но в такое утро, как это, доисторический страх особенно силен, гигантская птица, поднимающая кого-то в воздух…

Николас снял шляпу, надел снаряжение и, спрыгнув с моста, пролетел тридцать футов в тумане. Он висит под основанием моста, не видя ничего, кроме своих рук и ярда страховочной веревки. В шесть утра он уже потерян для общности людей на мосту, тоже творящих эту волшебную сказку.

Он движется параллельно решетчатой конструкции моста. Проникает в стальные и деревянные отсеки, как ныряльщик внутрь затонувшего судна, которое в любой момент может, накренившись, погрузиться в расщелину на дне. Николас Темелков работает вместе с деррик-краном,

который поднимает и опускает стальные конструкции, монтируя их все ближе к следующей опоре. Николас направляет их в тумане. Он фрагмент на конце стального каркаса, который кран несет на конце своей шестидесятифутовой стрелы. Тот поднимает Николаса вместе со стальными конструкциями на временную площадку, а оттуда их переносят передвижные краны. На западном конце виадука передвижные краны используются для установки стопятидесятифутового пролета. Здесь работают два деррик-крана с решетчатыми стрелами, способные перенести двенадцать тонн груза куда угодно — как морковку с переднего края только что возведенной секции моста.

Николас не крепит свое снаряжение к подъемным кранам, только к устойчивым стальным конструкциям недавно завершенной секции моста. Передвижные краны уже дважды, не выдержав нагрузки, падали в долину. Он не пристегивается к ненадежным конструкциям. Но ему приходится висеть рядом с ними в густом белом тумане, пока он не подведет новые стальные ребра к концу моста. Николас закрепляет их болтами, при последних поворотах гигантского гаечного ключа он всем телом налегает на

двухфутовую рукоятку, опускаясь вместе с ней, и, ощутив толчок, закручивает болт до упора. Затем он снова поднимается вверх по канату и повторяет все сначала. Через десять минут такой работы все кости ноют, воздух вокруг густеет, как цемент, разламывается спина.

Вместе с передвижными кранами Николас Темелков поднимается с нижнего уровня, выкрикивая в тумане крановщику под грохот строительных лесов и лязг стальных конструкций, заглушающий его, «раз-два-три-четыре» — единственный язык, который он использует. Так было и той ночью, когда обрушился передвижной кран — весь целиком. Темелков нырнул в темноту, как на качелях, *все равно куда,* лишь бы подальше от пятнадцати тонн строительных лесов, которые сначала обвалились на нижний уровень моста, а затем с треском и грохотом устремились в долину, подобно вагонетке, груженной металлом. Он знал, что спасся от рухнувших досок, но оставались еще стальные кабели в руку толщиной, которые, размотавшись, со свистом хлестали по воздуху. Когда взмах маятника, на конце которого находился Темелков, достиг высшей точки, он полетел назад, сжавшись в комок, чтобы избежать столкновения с кабелями, рассекавшими воздух.

В аналогичной ситуации его предшественник погиб, был рассечен пополам, верхнюю половину его туловища нашли через час, она так и висела на лямках страховки.

К восьми часам утра туман под жаркими лучами солнца рассеивается, люди на мосту работают уже два часа. Когда начинают разравнивать гудрон, его запах долетает до Николаса. Он висит в воздухе, ожидая свиста, извещающего о следующем передвижении крана. Под ним река Дон, железнодорожная магистраль Гранд-Транк и Валли-роуд. Отсюда видны дома и бараки, красивая деревянная обшивка концевой опоры моста, напоминающая шатер. Ветер осушает его пот. Николас разговаривает по-английски сам с собой.

* * *

Женщина выходит из ресторана «Охридское озеро» в голубой коридор, узкую голубую полоску света, ведущую на улицу. В эту минуту, прежде чем она выйдет отсюда, прежде чем окажется в шесть утра на улице, она становится той, кем станет. Попугай Элисия наблюдает за ее уходом, а затем переключает внимание на спящего на стуле мужчину, одна его рука лежит на столе ладонью вверх, словно он просит подаяния, голова

прислонена к стене рядом с гребнем волны. Он сидит в темноте, разжав мозолистую жесткую ладонь. Пять лет назад или десять лет спустя женщина уловила бы идущий от его волос запах муки, он спал рядом с тестом, свернувшись вокруг него, согревая его своим теплом, чтобы лучше подошло. Но теперь его руки огрубели. Когда он касался пальцами стола, — это останется у нее в памяти, — раздавался звук, напоминавший звон стекла.

* * *

Начальник строительства Харрис никогда не беседует с Николасом Темелковым, но часто наблюдает за тем, как тот поднимает глаза и направляется к кромке виадука, выслушивая указания инженера Тейлора. Николас кажется рассеянным, но Харрис знает, что он слушает внимательно. Николас никогда не смотрит в глаза, словно должен выслушивать распоряжения, довольствуясь одними словами.

Его глаза огибают предметы. Строительные леса, ограждения, канатные зажимы. Он ест сандвичи и в это время наблюдает за рабочим, который прикрепляет шкив к перилам, или рассматривает дорогую кожу на ботинках ар-

хитектора. Он пьет воду из зеленой бутылки с пробкой, а его взгляд направлен куда-то в сторону. Он никогда не замечает, что другие часто смотрят на него. Не осознает, что его действия экстремальны. Не видит себя со стороны. Поэтому он кажется Харрису и другим людям мальчишкой, помешавшимся, к примеру, на игрушечных машинках, — этот период развития они уже давно прошли.

Николас идет по парапету, глядя в сторону, на веревочные петли, и вдруг без всякой подготовки шагает в открытый воздух. Теперь Харрису не на что смотреть, разве только на быстро скользящую веревку. Николас останавливается двадцатью футами ниже, с глухим стуком у сердца, в точке крепления страховки. Иногда рабочие на площадке слышат, как он медленно, по слогам поет песни, повторяя то одну, то другую фразу, словно придирчиво рассматривает их, как разложенный на полу инструмент, проверяя на прочность, выбирая то, что ему приглянулось, а затем меняя на другое. Из-за того что Николас не только ни на кого не смотрит, но и почти не слушает того, что говорят вокруг, он полагает, что и его никто не слышит.

Говорить на новом языке Николасу гораздо

труднее, чем передвигаться в пространстве. Ему нравится новый язык, его ужасные барьеры. *«Does she love me? — Absolutely! Do I love her? — Positively!»* — поет Николас сорокафутовой трубе, которую сопровождает к передвижному крану. *Он* знает Харриса. Он *знает* Харриса по времени, за которое тот проходит шестьдесят четыре фута семь дюймов от одной стороны моста до другой, а также по дорогому твидовому пальто, стоящему больше недельной зарплаты пяти рабочих.

Событием, высветившим путь к эмиграции в Северную Америку, стало появление звукового кино. Немые фильмы не несли в себе ничего, кроме развлечения: торт, угодивший в лицо, щеголь, которого выволок из магазина медведь, — все эти эпизоды управлялись судьбой и выбором момента, а не языком и аргументами. Бродяге никогда не изменить своего мнения о полицейском. Дубинка поднимается, бродяга, пытаясь скрыться, влезает в окно на углу и нарушает процедуру омовения толстой дамы. Эти комедии сродни кошмарным снам. Публика исторгает испуганный смех, когда Чаплин с повязкой на глазах проносится на роликах по краю балкона. Никто не пытается его остановить. Он не может ни говорить, ни слушать. Северная Америка еще

не обрела язык, единственной валютой служат жесты, работа или родословная.

Но Николаса привела сюда чарующая сила языка. Он очутился в Канаде в 1914 году, без паспорта, проделав долгий путь в молчании. Вися на тросах под мостом, он описывает это приключение самому себе, его описание похоже на волшебные сказки о Верхней Америке, рассказанные теми, кто вернулся в македонские деревни, — подобно козлам, ведущим стадо овец, эти люди вели легковерных на запад.

Даниел Стоянов соблазнил их всех. Северная Америка полна богатства и опасностей. Ты уезжаешь туда на время и возвращаешься богачом — на компенсацию за потерю руки на скотобойне Даниел купил ферму. Он потешался над случившимся! Бил кулаком оставшейся руки по столу и давился от смеха, называя их всех придурками, баранами! Как будто его рука была яловой коровой, которую он всучил канадцам.

Простота сделки потрясла Николаса. Он видел, как Стоянов стоит на бойне, по щиколотку в коровьей крови, ревя не хуже этих самых коров, — он потерял руку, он выбит из равновесия. Стоянов вернулся в родную деревню Ошчиму с пустым рукавом, висевшим как шарф, и деньгами на

землю. Он приглядел себе жену с двумя руками и остепенился.

За десять лет Даниел Стоянов надоел своими россказнями всем в деревне, сам же он не мог дождаться момента, когда дети вырастут и поумнеют, чтобы поразить их своими рассказами о Верхней Америке. Даниел уже успел им сообщить, что на самом деле он потерял сразу обе руки, а не одну, но он снимал комнату вместе с портным, который тогда остался без работы и, к счастью, оказался в тот день на скотобойне. Портной Дедора вытащил кишки из пробегавшей мимо кошки, пришил на место правую руку Даниела и собирался пришить вторую, но в это время бездомная собака, одна из тех, что вечно караулят у дверей, схватила ее и умчалась прочь. Когда ты рубишь и нарезаешь туши, они всегда тут как тут, когда ты, закончив работу, идешь в набухших кровью ботинках и комбинезоне, они бегут за тобой, жуют твои обшлага и слизывают кровь.

Эту историю Стоянов рассказывал всем детям в округе, достигшим определенного возраста, и вскоре стал для них героем. «Глядите, — говорил он, снимая рубашку на главной улице Ошчимы, в очередной раз раздражая посетителей бара

„Петров“, — *глядите, каким замечательным портным был Дедора,* — никаких следов шва». Он проводил воображаемую линию вокруг здорового плеча, и дети смотрели на него во все глаза, потом переводили взгляд на другое плечо — нелепую культю.

Когда на Балканах началась война, Николасу было двадцать пять. Когда его деревню сожгли, он и трое его друзей сели на лошадей и, захватив с собой еду и мешок с одеждой, покинули родные края. Они скакали весь день и всю ночь, а потом еще весь день, пока не оказались в Трикале. Там они вскочили на поезд до Афин. У Николаса был жар, он бредил, ему не хватало воздуха в прокуренном вагоне, и он рвался вылезти на крышу. В Греции они дали капитану корабля по наполеондору, чтобы он перевез их в Триест. К тому времени жар был у всех. Они спали в подвале заброшенной фабрики, ничего не делая, только пытаясь согреться. На швейцарской границе у них не должно быть ни малейших признаков болезни. Они провели в подвале шесть или семь дней, потеряв счет времени. Один из них едва не умер. Они спали обнявшись, чтобы согреться. И говорили об Америке Даниела Стоянова.

В поезде доктор осмотрел им глаза и позволил

четверым друзьям пересечь границу. Они оказались во Франции. В Гавре они договорились с капитаном старого судна, перевозившего скот. Оно направлялось в Нью-Брансуик.

Двое из друзей Николаса умерли в пути. Один итальянец показал им, как нить кровь животных, чтобы сохранить силы. Это было на французском судне «Ла Сицилиана». Он до сих пор помнит его название, помнит, как они высадились на берег в Сент-Джоне и все подумали, до чего же просто он выглядит. До чего же проста Канада. Им надо было пройти полмили пешком до станции, где их должны были осмотреть. Они забрали то, что могло им понадобиться, из мешков тех двоих, что умерли, и направились в Канаду.

На корабле была такая грязь, что на них кишели вши. Пассажиры четвертого класса поставили свои вещи у уличных кранов возле уборных. Они разделись догола и встали один против другого, как будто смотрелись в зеркало. И начали стряхивать вшей и смывать грязь с тела тряпкой и холодной водой. Стоял конец ноября. Потом они оделись и вошли в здание таможни.

Паспорта у Николаса не было, и он не знал ни слова по-английски. Он показал свои десять наполеондоров, дабы объяснить, что не станет

жить за чужой счет. Его пропустили. Он был в Верхней Америке.

Николас сел на поезд до Торонто, где жили многие его односельчане. Он не окажется среди чужих. Но там не было работы. Поэтому он сел на поезд, идущий на север, в Коппер-Клиф, недалеко от Садбери, и стал работать в македонской пекарне. Ему платили семь долларов в месяц с харчами и жильем. Полгода спустя он отправился в Су-Сент-Мари. Он почти не говорил по-английски и решил пойти в школу, работая ночами в другой македонской пекарне. Без языка он пропадет.

Школа была бесплатной. В его классе учились десятилетние детишки, ему же было двадцать шесть. Обычно он вставал в два ночи, замешивал тесто и до половины девятого пек хлеб. В девять он отправлялся в школу. Все учительницы были молодыми и очень добрыми. Пока он жил в Су, он видел переводческие сны — из-за свой одержимости английским. Деревья в этих снах меняли не только свои названия, но и облик и характер. Мужчины говорили фальцетом. Собаки, пробегая мимо, бесцеремонно обращались к нему на улицах.

Когда Николас вернулся в Торонто, ему не

хватало одного: обрести голос в этом языке. Большинство эмигрантов учило английский по песням на пластинках или, пока не появилось звуковое кино, повторяя слова за актерами на сцене. Вошло в обычай выбирать одного актера, следить за ним на протяжении всей его карьеры, огорчаясь, если он получал небольшую роль, и как можно чаще посещать его спектакли — порой до десяти раз в сезон. Обычно к концу сезона в театрах «Попугай» и «Фокс» репликам актеров вторило громкое эхо — это греки, македонцы и финны с полусекундным опозданием повторяли их слова, совершенствуя свое произношение.

Это выводило актеров из себя, особенно если слова «Кто поставил в гостиную плиту, Кристин?», после которых зал взрывался аплодисментами, теперь повторяло не меньше семидесяти человек, отчего они теряли свою спонтанность. Когда любимец публики Уэйн Бернетт во время спектакля упал замертво, его роль исполнил мясник-сицилиец, досконально изучивший все реплики и мизансцены, и деньги за билеты не пришлось возвращать.

Некоторые актеры приобрели популярность, потому что говорили медленно. Огромным спросом пользовались унылые баллады и блюзы,

в которых первая строчка повторялась по три раза. Приезжие избавлялись от своего акцента и приобретали местный американский выговор. К несчастью, в качестве примера для подражания Николас избрал Фатса Уоллера и начат выделять те звуки, которые обычно глотают, и те слова, которые обычно произносят вскользь, из-за этого он казался слишком нервным, или слишком угрюмым, или безнадежно влюбленным.

Когда он работал на мосту, его считали замкнутым. Он начинал говорить на новом языке, запинался и отходил. Он стал хранилищем тайн и воспоминаний. Он нес единственную ношу — уединение. Никто из тех, кто работал вместе с ним, его не знал. Этот человек, неловкий на людях, уходил, оставляя о себе очень странное впечатление, — вроде собачьих следов на заснеженной крыше дома.

* * *

«О-ох!» Вот что его разбудило — доктор, осматривающий его руку. «Ох!» Он проспал шесть часов. Коста был рядом. Николас заметил, что доктор разрезал покрывало монахини и его рубаху. Ему сказали, что каким-то образом он ухитрился вправить себе руку.

Он схватил покрывало и стал внимательно его разглядывать.

Женщина оставалась с ним до раннего утра, пока не спустился Коста, которому она сказала про руку, сказала, что надо вызвать доктора и что ей надо идти. Она говорила? Ну конечно. Какой у нее голос? Что еще о ней известно? Коста вспомнил черную юбку. Перед тем как уйти, Николас заглянул за стойку и нашел обрезки черной рясы, из которой она сделала себе юбку.

Когда он выходит из ресторана «Охридское озеро» на улицу, пейзаж после катастрофы на мосту кажется ему другим, уже не таким знакомым. Теперь Николас Темелков видит Парламент-стрит глазами женщины, которая, порывшись в его сумке с инструментами, пока он спал, нашла его большие ножницы для проволоки и укоротила черный подол своей рясы. Когда он выходит из ресторана «Охридское озеро» тем утром, он чувствует ее настроение. Он знает, что найдет ее.

Ухаживание в отсутствие предмета любви длится очень долго. В данном случае оно началось с его замечания о ее волосах или с ее почти беззвучного вопроса, когда он проваливался в сон с башни или моста. Грань сна и яви всегда страшила Николаса, поэтому он напивался перед

сном, чтобы притупить ощущение панического страха, длившееся несколько секунд, когда его не слушались руки. Он лежал, понимая, что перед тем, как уснуть, испытает мгновенное падение, которого боялся больше всех своих полетов на мосту или любого задания, которое он выполнял для «Доминион бридж компани».

Пока падал, вспомнит он позже, он почувствовал протянутую к нему руку женщины, которая хочет узнать его имя.

Теперь он все время ощущает ее присутствие, они как близнецы. Их связывает не то, что он спас ей жизнь, а то, что последовало за этим. Полузабытая песенка по радио. Его бесцеремонность и беззастенчивые комплименты монахине относительно ее красоты. Потом он откинул голову назад, закрыл глаза и проспал слишком долго.

Через неделю он снова взбирается на грузовик, везущий огонь и гудрон, вспрыгивая туда вместе с другими людьми, и снова работает на мосту. Его рука зажила, и он перелетает с опоры D на опору C, не слушая историй об исчезнувшей монахине. Он висит на своих веревках, разглядывая стойки моста, медленно вращаясь в воздухе. Он знает панораму долины лучше любого инженера. Как птица. Лучше Эдмунда Берка, архитектора моста,

или Харриса, лучше геодезистов, которые в 1912 году работали вслепую в зарослях кустарника. Панорама вращается вместе с ним, он парит в долгом безмолвном ухаживании, а отсутствие этой женщины заставляет всюду искать ее глазами.

Через год он откроет на скопленные деньги пекарню. Ослабит стопор карабина и спустится с моста свободным.

Искатель

~~~

Оказавшись в Торонто, Патрик Льюис почувствовал себя как моряк после долгого плавания. Его детство прошло в глуши, в маленьком городке Беллрок, стоявшем на реке, по которой сплавляли лес. Лесорубы глушили виски, хрипло перекрикивались, а весной оставляли местных жителей в непривычной тишине. Теперь, в двадцать один год, Патрик, как камень из пращи, вылетел из своей деревни и приземлился под высокими арками вокзала Юнион, чтобы начать жизнь сначала. У него не было ничего, если не считать небольшой суммы денег. В кармане у него лежал кусок полевого шпата, на который то и дело натыкались его пальцы, пока он ехал в поезде. В этом городе он был эмигрантом.

От детства у Патрика остались воспоминания о письмах, смерзшихся в почтовом ящике после метелей. Он помнил свою любовь к цветным предметам, ненависть к белизне, теплый бурый хлев, клубящийся в воздухе пар от дыхания скота, а кислый запах мочи и навоза он мог воскресить
~~~

в памяти даже здесь, в сердце Торонто. Это запах витал в воздухе во время его грехопадения в стоге сена; рассерженная девушка дала ему затрещину, когда они, насытившись друг другом, испытали угрызения совести. Он помнил задубевшие на морозе выстиранные комбинезоны, которые он нес на кухню и сажал на стул, надеясь, что отец успеет их увидеть до того, как они, оттаяв, упадут на стол.

Потом лето. Мухи и комары. Он ныряет не в стог сена, а в глубокие темные воды реки и возвращается домой нагишом, лакомясь молодым ревенем, неся одежду под мышкой. Надкусываешь блестящую кожицу ревеня, переламываешь стебель и высасываешь сок. Кладешь крохотную ягоду малины на язык и осторожно давишь зубами. И замираешь в поле в жаркий день, потрясенный этим вкусом.

Теперь же в городе он казался незнакомцем даже самому себе, путь назад, к прошлому, был отрезан. Он увидел свое отражение в стекле телефонной будки. Провел руками по гладкому розовому мрамору колонн и вошел в ротонду. Этот вокзал был настоящим дворцом, а ниши и залы — целым городом внутри него. Здесь можно было побриться, поесть или почистить обувь.

Хорошо одетый мужчина с тремя чемоданами что-то кричал на чужом языке. Его глаза жгли всякого, кто поначалу принимал его крики на свой счет. Но слова предназначались или ангелам, чтобы те ему помогли, или демонам, чтобы те его оставили. Спустя два дня Патрик вернулся на вокзал забрать вещи из камеры хранения. Он снова увидел того же мужчину, но в другом костюме, так и не сумевшего выбраться из безопасной зоны, словно в шаге отсюда начинались зыбучие пески нового мира.

Патрик присел на скамью и, наблюдая за приливом и отливом толпы, ощутил клокотание жизни. Он громко произнес свое имя, и оно, отозвавшись глухим эхом, растаяло под высокими сводами вокзала Юнион. Никто не обернулся. Он был во чреве кита.

~~~

Когда в 1919 году миллионер Эмброуз Смолл исчез, то оказалось, что в полиции имеется его антропометрическая карта, составленная по методу Бертильона. Между 1889 и 1923 годами система идентификации Бертильона использовалась для розыска преступников и пропавших без вести.
~~~

Его метод состоял в измерении определенных частей тела: длины и ширины головы, длины правого уха, длины левой ступни и среднего пальца левой руки, длины предплечья. По всей Северной Америке в домах, тюрьмах и моргах людям измеряли конечности и отсылали результаты в полицию Торонто. В ходе поисков более пяти тысяч человек выдавали себя за Эмброуза Смолла. Они утверждали, что потеряли память, что их похитили в упаковочном мешке, изуродовали, спрятали в расщелинах скал Скарборо, подвергли пыткам, раскормили, удалили все волосы, лишили памяти с помощью различных снадобий, изменили цвет кожи, превратили в женщину, изменили длину правого уха, что они оказались без гроша в кармане и в данный момент голодают — поэтому пришлите пятьсот долларов в Нельсон, Британская Колумбия, или в Уичите, Канзас, или в Корнербрук, Ньюфаундленд. Одна женщина из Гамильтона видела Эмброуза с перерезанной глоткой. Однажды утром она проснулась от ощущения крови на подушке, подняла глаза и увидела, что кто-то отпиливает ей голову. Тогда она сказала: «Я Эмброуз Смолл» — и снова проснулась. Другой привиделось, что она открыла сейф в здании Гранд-опера и обнаружила внутри, на

документах, скорчившийся скелет.

Пресса хваталась за любую возможность.

ТАИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК С СЕВЕРА НАПОМИНАЕТ СМОЛЛА

«Стар», 27 мая 1921 года

В случае обнаружения дополнительных улик останки могут быть эксгумированы.

В ПОЛЕ БЛИЗ УИТБИ ОБНАРУЖЕН СКЕЛЕТ

«Телеграмм», 2 июня 1921 года

«Когда мы извлекли его из земли, мне пришло в голову, что это, вероятно, Эмброуз Смолл», — размышлял вечером того же дня временно исполняющий обязанности начальника полиции Джон Томас.

ДЕТЕКТИВ ИЗ АЙОВЫ УВЕРЕН, ЧТО НАШЕЛ ЭМБРОУЗА СМОЛЛА

«Мейл», 16 августа 1921 года

Джон Брофи, глава детективного агентства Брофи, Айова, уволенный с должно-

сти заместителя начальника полиции, заявляет, что у него под охраной содержится мужчина, которого он опознал как Э. Дж. Смолла. По словам Брофи, он может предоставить Смолла канадским властям, когда они будут готовы заплатить обещанное вознаграждение.

— Это Смолл, — заверил он.

Мужчина приходит в себя после огнестрельного ранения в шею, сотрясения мозга и легких повреждений. Обе ноги у него ампутированы выше колена.

— Вот что Смолл сказал мне после того, как опознал свою фотографию: «Помню только удар, а потом темноту и ужасную боль. Что было до того, как меня сюда доставили, я не помню. По-моему, я был в Омахе, это все».

Между 1910 и 1919 годами Эмброуз Смолл был шакалом делового мира Торонто. Проведя ряд махинаций с собственностью, он с нуля пробился в мир театрального менеджмента. В двадцать восемь лет он купил Гранд-опера в Торонто и затем начал скупать театры по всей провинции: в Сент-Катаринсе, Кингстоне, Арконе, Петролии, Питерборо и Парисе, Онтарио, — пока не

прибрал к рукам всю театральную сеть. Он построил «Гранд» в Лондоне, Онтарио, — самый большой театр в Северной Америке, не считая «Ипподрома» Ши. Ему принадлежало девяносто шесть театров. Он стал играть на собачьих бегах и помешался на борзых.

Женившись на Терезе Корманн, он отдалился от своих сестер. Жена была ярой поборницей трезвости, и Смолл раз в неделю отдавал театр в ее распоряжение. Там она устраивала антиалкогольные шоу, на которые никто не ходил. «Бегите прочь от открытых дверей, — пел хор в почти пустом зале, — не заходите в мерзкий салун». В остальные дни ставили «Бен-Гура», «Шалунью Луизу», и зал был набит до отказа. В доме на Гленроуд Смолл устраивал мерзкие вечеринки. Под утро девушки из кордебалета и живые павлины, пошатываясь, выходили за калитку и разбредались по улицам Роуздейла — шоферы богачей тактично, немного поотстав, следовали за ними на машинах.

В Парисе, Онтарио, он познакомился с актрисой по имени Клара Диккенс, и она стала его любовницей. Кларе был двадцать один год, Смоллу тридцать пять, и он очаровал ее своей разносторонностью. Он был лжецом. Безжалост-

ным капиталистом. Кружащим над провинцией ястребом, который камнем падал на добычу, выхватывал лакомые куски и поедал прибыль в воздухе. Шакалом. Так называли его журналисты, а он, смеясь над ними, оплетал своих критиков паутиной и покупал их на корню. Он или подчинял себе людей, или они становились его врагами. Никаких соотечественников. Никаких пленных. В десятом веке, любил он повторять, борзая или сокол стоили не меньше человека.

Каждое утро он вставал и шел в свою контору в «Гранд-тиетр» на Аделейд-стрит. Он приходил туда по меньшей мере за час до того, как появлялся первый его служащий, и в одиночестве планировал свой день. Это время он любил больше всего. Он выстраивал сложные схемы, рассматривал предложения и встречные предложения, процентные ставки и предел возможностей своих соперников. Он брал авокадо, нарезал его на тонкие зеленые полумесяцы, садился за письменный стол, ел и размышлял. К тому времени как приходили его служащие, он, сидя за пустым столом, уже представлял себе все возможные сценарии. Спускался в парикмахерскую, садился в кресло, брился и делал маникюр. Его рабочий день был закончен. Механизм, запущенный Эмброузом

Смоллом, начинал тикать по всему городу.

Со своей любовницей Кларой Диккенс он был любезен, щедр, очарователен. Она знала его с лучшей стороны, встречаясь с ним один-два раза в неделю. Увозила его с памятных всем вечеринок с павлинами. Они ездили на прогулки. Он покупал под разными именами гостиницы и дома по всей провинции Онтарио. «Я вор, — говорил он. — А все воры должны планировать бегство заранее». Названия городов и вымышленные имена хранились только в его памяти и больше нигде. Кларе казалось, что он покупал или потреблял все, что ему попадалось на глаза.

16 декабря 1919 года Эмброуз Смолл не пришел на деловую встречу. С его банковского счета исчез миллион долларов. Эмброуза либо убили, либо он без вести пропал. Его так и не нашли, ни живым ни мертвым.

В начале двадцатого века большинство криминальных расследований велось неспешно, с чувством собственного достоинства. Между тем преступники не теряли времени, они садились на поезда и пароходы. Арест доктора Криппена на борту океанского лайнера (где он читал «Просто четверо мужчин») стал возможным благодаря радиосвязи и был расценен публикой как

проявление дурного вкуса. Но в деле Эмброуза Смолла было нечто сродни открытию сезона: возможность высказать недовольство состоянием мира. Дикий капитализм Смолла обнажил непримиримые противоречия между богатыми и страдающими от голода.

В первый год после исчезновения Смолла публика наблюдала за тем, как полицейские стараются его найти. Но когда у тех ничего не получилось и семья пообещала восемьдесят тысяч долларов тому, кто укажет местонахождение Смолла, публика взялась за дело сама.

Теперь его искали все, кому не лень. К 1921 году за четыре доллара в неделю можно было наняться в одну из многочисленных компаний «искателем» и, рыская по Торонто и небольшим городкам, доставлять подозрительные личности в полицию, где с них снимали мерки по методу Бертильона. Орды искателей напоминали отряды вербовщиков прежних лет, в стране одновременно действовало множество конкурирующих организаций, инвестирующих деньги в свой проект так же, как в добычу нефти или золота.

В 1924 году, перепробовав несколько занятий в Торонто, Патрик Льюис сделался искателем. Ни одно из найденных тел не соответствовало табли-

цам Бертильона, и на поиски миллионера были брошены толпы безработных. В те суровые времена любое упоминание о «нефтяном фонтане» или «забастовке» требовало незамедлительных действий. Поиски превратили тело миллионера в редкую монету, в пачку ценных бумаг.

Наибольший интерес вызвали у Патрика письма, переданные его семье полицией. Со временем ему удалось познакомиться с двумя сестрами Смолла, которых удивляло, что до сих нор никто не отнесся к этим письмам всерьез. Маньяки, медиумы, вымогатели, похитители — полиция и жена Смолла с презрением отвергли всех. Патрик был дружески принят сестрами Смолла в их доме на Изабелла-стрит. Лучше всех его знает Клара Диккенс, сказали они. Она была изумительной любовницей. Поговорите с Бриффой, он также думает, что она была идеальной женщиной для Эмброуза — не Тереза, его жена, та *святая.*

~~~

Патрик сел на поезд до Париса, Онтарио, и встретился с радиоактрисой Кларой Диккенс. Она стояла в прихожей рядом с матерью и заявила, что не будет говорить об Эмброузе Смолле.
~~~

Утверждала, что с момента исчезновения его не видела. Он стоял и смотрел на нее. Она попросила его уйти.

В книгах он читал, как спасают женщин, которых понесли лошади, или тех, кто провалился под лед на замерзшем пруду. Клара Диккенс стояла на краю мира богатых. Говоря с ним, она слегка изогнулась перед зеркалом в холле, надевая сережку, не обращая на него внимания, он встретился глазами с ее отражением. Он был покорен — ее длинными белыми руками, нежными волосками сзади на шее, — как будто она, не оборачиваясь, выстрелила в него через плечо, смертельно ранив. «Изумительная любовница», «идеальная женщина».

А кем она еще была, кроме как любовницей Эмброуза Смолла? Она была одета на выход, в закрытое газовое платье с блестками, и напомнила ему стрекозу. Но в том, как она стояла к нему спиной, отказываясь поговорить по-человечески, что-то было.

Он вернулся на следующий день, и она открыла ему дверь в платье с закатанными рукавами. Руки были по локоть в муке.

— Я думал, ты богатая, — сказал он.

— С чего ты взял? Хочешь, чтобы я наняла тебя для поисков моего любимого?

Весь вечер и все утро Патрик пытался соблазнить Клару Диккенс, а на следующий день, когда он уже отчаялся, она соблазнила его. Когда он просматривал в местной библиотеке старые газетные вырезки об Эмброузе, вошла Клара. Он задремал над папками 1919 года, его щека неловко склонилась на плечо, как будто кто-то подкрался в тишине читального зала и сломал ему шею. Клара медленно вошла в библиотеку в белом платье и встала перед книжными полками.

— Я отвезу тебя в гостиницу.

Ее голос разбудил его. Она повернула стул к себе, села на него верхом, расставив ноги, наклонилась вперед и положила локти на спинку. Ее белое платье вобрало в себя весь солнечный свет в библиотеке. Ее смеющееся лицо вдруг напряглось. Протянув вперед длинную руку, она взяла одну из вырезок.

— Думаешь, что выйдешь на него через меня? Думаешь, он оставил на мне свою

тень?

Он не мог ничего ей возразить, пораженный ее красотой. На нижнем веке у нее сверкала капелька воды, слеза от солнца, которой она не замечала.

— Пошли. Я отвезу тебя в гостиницу.

Он уже не помышлял об обольщении. Его измучил вчерашний ночной разговор у нее на крыльце, выходящем на Бродвей-стрит. Они волновались, их пылкие доводы звучали как дуэт. Обычно у него уходило несколько месяцев на то, чтобы с кем-то сблизиться, при малейшем намеке на отказ он поворачивался и уходил навсегда. Но он убеждал ее так горячо, что они до поздней лунной ночи просидели на крыльце, потешаясь над уловками других. Она не позволила ему целовать или обнимать ее стоя — вероятно, не хотела, чтобы их тела соприкасались.

Потом они шли под дождем вдоль Гранд-ривер к ее машине. Наверняка подарок Эмброуза, подумал он. Он так устал, что в нем не осталось ни изощренности, ни лукавства. А она не знала, что делать с его внезапной одержимостью. Она не торопясь отвезла его к гостинице «Арлингтон», и

они сидели в ее машине.

— Завтра я пойду в библиотеку, — сказал он.

— Могу составить тебе компанию.

Прищелкнув языком, она кокетливо вздернула подбородок.

Было два ночи. Она сидела вполоборота к нему, сбросив туфли, одно колено рядом с рычагом коробки передач смотрело прямо на него. Она позволила поцеловать себя на прощание, и он несколько секунд сидел, глядя на ее лицо в узорах от уличных фонарей.

Он вышел, слишком сильно хлопнув дверью, и только через несколько шагов осознал, что звук был слишком громким. Он обернулся.

— Я не нарочно.

— Знаю.

Она сидела одна, очень тихо, с опущенной головой, и смотрела туда, где он только что сидел.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Патрик.

Они вышли из библиотеки на яркий солнечный свет и сели в ее машину. Патрик нес с собой картонную коробку с заметками. Оба настолько устали, что по пути в гостиницу почти не разговаривали.

Его номер был залит ярким дневным светом, через открытое окно доносился уличный шум. Они заснули почти мгновенно, держась за руки.

Проснувшись, он ощутил на себе ее изучающий взгляд. Он мог различить только ее темное лицо и шею. Он чувствовал себя неловко из-за того, что уснул в одежде.

— Привет.

— Спой мне что-нибудь, — пробормотала она.

— Что?

— Я хочу, чтобы все было как положено. Ты умеешь петь?

Она улыбнулась, и он придвинулся ближе к ее мягкому телу.

После того как они занимались любовью, он подложил подушку себе под голову как можно ближе к Кларе и стал на нее смотреть. Проснувшись, он обнаружил, что она ушла, ее телефон не отвечал. Он вернулся в постель и вдохнул аромат

оставшихся на подушке духов.

* * *

— Патрик, это ты?

— Да, Клара.

— У тебя странный голос.

— Я спал.

— Я отвезу тебя в одно место. Захвати что-нибудь выпить. И штопор. Я возьму еду. Мы там пробудем несколько дней.

Они ехали по извилистой дороге в Парис-Плейнс, мимо ущелий и табачных полей.

— Мы едем в один сельский дом.

— Эмброуза?

— Нет, моей подруги Элис. Я расскажу тебе о ней позже.

— У тебя и сейчас полно времени.

— Позже.

Они вошли в маленький дом с дровяной печью на кухне. По краю обоев там и сям были воткнуты птичьи перья. В алькове комнаты с окнами на три стороны стояла кровать. На полу лежал коврик. Мебели почти не было. Как в келье монахини.

Подруги не будет пару дней, сказала Клара.

Позже ночью они, полуодетые, лежали на кровати под тремя окнами. Патрик любил спать один, в своем собственном мире, но с Кларой он лежал без сна, прижимая ее к себе. Ночью она медленно поворачивалась, словно какое-то существо на дне океана. Натягивала на себя в темноте все больше одежды. Она всегда мерзла ночью в этой морской комнате.

— Ты не спишь?

— Сколько времени? — спросила она.

— Еще ночь.

— А…

— Я люблю тебя. Ты когда-нибудь была влюблена? В кого-нибудь, кроме Эмброуза.

— Да.

Он был неприятно удивлен ее небрежным признанием.

— Когда мне было шестнадцать, я влюбилась в парня по имени Стамп[2] Джонс.

— Стамп!

---

[2] Примечания: 2
Пень, болван *(англ.).*

— У него была проблема с именем.

— Еще бы!

— Спокойной ночи, Патрик. Я уже сплю.

— Эй!

Он встал и прошелся по дому, он был счастлив и свободен, как никогда. Клара крепко спала, слегка посапывая, надев для тепла одну из его рубашек. На ее лице блуждала улыбка. Как будто она подсмеивалась над ним. Ему захотелось добраться до Стампа Джонса и избить его до полусмерти. Шестнадцать! Где он был, когда ей было шестнадцать? Она была любовницей Смолла, любовницей Стампа и кого еще? В этот час он чувствовал, что околдован ее телом, что блуждает в лабиринте ее прошлого.

Минут десять Патрик смотрел в окно и наконец заметил тень на стекле — древесную лягушку. Он зажег керосиновую лампу и поднес ее ближе. *Pseudacris triseriata.* «Привет, дружок!» — шепнул он светло-зеленому пятнистому тельцу, висящему на стекле.

— Клара…

— Кто там?

— Эмброуз.

Любовь была для него чем-то вроде детства. Она позволила ему раскрепоститься, быть раскованным и не бояться показаться глупым.

— Что?!

Она мгновенно проснулась и смотрела на него так, будто он сошел с ума.

— Иди сюда, я хочу кое-что тебе показать.

Она посмотрела на окно, потом опять на Патрика, но промолчала.

— Он хочет, чтобы ты разделась.

— Патрик, сейчас три ночи, пора спать. Ты должен искать моего любимого. — (*Любимого!* Он усмехнулся.) — Ты хочешь снова заняться любовью, да?

— Там древесная лягушка!

— Древесные лягушки любят гулять при лунном свете.

— Да, но они выходят только днем. Он хочет видеть твою грудь, твой живот.

— Это что, какой-то большевистский обычай?

Она расстегнула рубашку и встала между ним и стеклом.

— Завтра ночью он, наверно, приведет своих собратьев, чтобы на тебя посмотреть. Иногда их называют колокольными лягушками. Возбудившись, они издают звуки, похожие на колокольный звон. А бывает, лают, как собаки.

Она наклонилась и, прижавшись к стеклу губами, поцеловала зеленый живот.

— Привет, Эмброуз, — шепнула она. — Как поживаешь?

Обняв сзади, Патрик взял ее за грудь.

— Выходи за меня…

И залаял.

— Однажды, очень скоро, я уеду.
— К Эмброузу.
— Да… Я знаю, что он жив.
— Боюсь, мы больше не увидимся.
— Продолжай, Патрик, но в тебе нет сожаления.

— Странное слово. Оно предполагает какие-то перемены к лучшему в самом себе.

— Молчи. Иди сюда…

Он встретился с Эмброузом во сне. У дверей тот сказал: «Эта серая фигура приросла к моему телу, Патрик. Отрежь ее». Они были старыми друзьями. У Патрика с собой был только перочинный нож. Он раскрыл его и отвел Эмброуза в холл, под единственную лампу у металлических лифтов. Теперь он мог лучше рассмотреть эту штуку. К его другу был пришит серый павлин. Патрик начал его отрезать.

Эмброуз стоял спокойно. Казалось, ему совсем не больно. Патрик добрался до лодыжек, и с последним взмахом ножа павлин отвалился. Он лежал на полу, словно неубранная груда пыли. Они вернулись к дверям, пожали друг другу руки и расстались. Проваливаясь сквозь последние конструкции своего сна, Патрик услышал новости об убийстве Смолла: его разрезали вдоль на две части.

— В чем дело?

— Тебе что-то снилось?

— Не знаю. А почему ты спрашиваешь?

— Ты дергался.

— Гм… Как я дергался?

— Ну, знаешь, вроде собаки, спящей перед камином.

— Быть может, я охотился на кролика.

Они сидели на полу, в углу, прислонившись к стене, ее рот был на его соске, рука медленно поглаживала член. Отточенное мастерство, все его тело заключено здесь, как корабль в бутылке. Сейчас я кончу. Кончай мне в рот. Она наклонилась вперед, его пальцы вцепились ей в волосы, похожие на рваный шелк, и он, исчезнув в ней, изверг семя. Согнутым пальцем она показала себе на рот, а он, нагнувшись, припал к ее губам и втянул в себя белую субстанцию. Так они передавали ее друг другу до тех пор, пока та не исчезла совсем, пока они уже не могли сказать, у кого она путешествует где-то в теле, как пропавшая планета.

На следующий день они ехали по проселочным дорогам в ее машине. Он смотрел на Клару, пока она рассказывала о швейной фабрике Уиллера, где работал ее отец, о заводе Мидьюза у железной дороги.

— Это тур по моей подростковой жиз-

ни, Патрик. Я покажу тебе, где меня едва не соблазнили.

— Решающие годы.

— Да.

Ему нравился эротизм ее жизни, нравилось знать, где она сидела в классе, ее любимую марку карандашей в девятилетнем возрасте. Его душа наполнялась подробностями. Однажды Клара сказала: «Когда я нахожусь с мужчиной в дружеских отношениях, единственный способ узнать его лучше — это с ним переспать». Секс был естественным продолжением любопытства. В те дни он понял, что его интересует лишь она: ее детство, ее работа на радио, ландшафт, в котором она выросла. Ему уже не нужен был Смолл, нужно было изгнать его из мыслей Клары.

Шел дождь, и они остались сидеть в машине. Клара опустила окно.

— Вот здесь я закапывала свой завтрак.

Вынув из кармана платок, она смочила его угол языком.

— Ты испачкался, — сказала она, вытирая ему лоб.

Все эти жесты отменяли место, страну, все на свете. Он почувствовал, что пора возвращаться к действительности.

— Расскажи мне что-нибудь про Эмброуза.

— Когда он лежал, его голос становился тихим и рассудительным.

— Что еще?

— Мы обычно трахались с ним на «Каюге».

— На дневном пароме? Господи, неужели на «Каюге»?

Он понемногу вытягивал из нее историю со Смоллом, как занозу из женской ладони. Клара неизменно его шокировала.

— Будет ли простительно сказать, что я осталась с ним, потому что он купил мне рояль?

— О чем ты мне рассказываешь?

— Я любила рояль. С ним я могла забыться. Избавиться от суеты, найти уединение.

У Эмброуза были деньги, игра на скачках, он всегда побеждал. А у меня — моя

работа на радио и рояль. В некоторые вещи лучше не вникать, иначе сойдешь с ума. Как ты считаешь?

— Я не знаю.

— Иногда я спала, к примеру, с его другом Бриффой. Воздух вокруг него был полон возможностей.

— Мне нравится такой воздух.

— Брифф а был очарователен. Европейская вежливость, намек на брутальность, счастливый брак. Мне он нравился, потому что был выбрит с головы до ног и привлекал к себе внимание. Он был театральным художником. У него был свой взгляд на вещи, и это само по себе прекрасный афродизиак. У Эмброуза его не было. Но он собирал вокруг себя таких людей, как Брифф а. Никто другой не стал бы иметь с ними дела, не говоря уже о том, чтобы дать им работу. Это была борьба — Смолл со своими друзьями против всех. Эмброуз вел осаду, крушил остатки богатых семей, у которых дела были совсем плохи.

— Да, а ты была пианисткой.

— Да, пианисткой, музыкальной интер-

людией, дневным романсом.

— Он первый трахнул меня в задницу.

Потрясенный Патрик неподвижно лежал рядом с ней в полуденном свете дня. Он не мог говорить о своем прошлом так спокойно, как она. Не любил вспоминать о любовных отношениях и старался о них не думать. Он мог открыть правду о своем прошлом, только отвечая на конкретный вопрос. Обычно его выручала привычка к неопределенности.

Внутри его была стена, за которую никто не мог проникнуть. Даже Клара, считавшая, что это его испортило. Крошечный камешек, проглоченный много лет тому назад, рос вместе с ним, и он носил его с собой, потому что был не в силах от него избавиться. Причины, по которым он прятал этот камень, возможно, уже давно исчезли сами собой… Патрик и его ничтожный камешек, проникший в него в неподходящее время его жизни. Тогда этот камешек страха был крошечным. В семь или двенадцать лет Патрик мог бы с легкостью от него избавиться, просто выплюнуть его и идти вперед, забыв о нем на следующем перекрестке.

Вот как мы устроены.

— У тебя есть друзья, Патрик?

— Нет. Только ты.

— Завтра приедет Элис.

— И нам придется уехать.

— Нет, мы можем остаться. Она тебе понравится. Но потом я оставлю тебя.

— Ради Эмброуза.

— Да, ради Эмброуза. И ты не должен следовать за мной.

— Мне трудно будет тебя забыть.

— Не беспокойся, Патрик. Люди взаимозаменяемы. Одни приходят на смену другим.

Интересно, не захотелось ли ему поначалу украсть ее не потому, что она была Кларой, а потому что она принадлежала врагу? Но теперь важна была она сама. Дочь мастера со швейной фабрики Уиллера, которая вселилась в него, как дух, подчинив себе его внутреннюю природу. Она была любовницей Эмброуза Смолла, была вовлечена в неторопливый, осмотрительный круг богатых. И вероятно, выучила хитрые правила, которые усваиваешь вместе с их дарами.

Она расхохоталась, волосы у нее на висках еще не высохли после близости. Внезапно он почувствовал, что тоже покрылся влагой. Обнимая ее,

он все еще не понимал, кто она такая.

~~~

После полуночи Клара подходит сзади к своей подруге Элис, снимает шаль с ее плеч и повязывает себе на голову. Патрик пристально смотрит на Клару — на ее фигуру, блики света на ее лице, короткие волосы. Следуй за мной, могла бы она сказать, и он превратился бы в одну из Гадаринских свиней.[3]

> — Я не рассказывала тебе, — Клара смеется, — как я помогала отцу брить собак? Это чистая правда. Мой отец любил охотиться. У него было четыре гончих, имен у них не было — они так часто исчезали, что мы употребляли номера. Летом охотники воруют друг у друга собак, и мой отец всегда опасался кражи. Тогда мы поехали к самому плохому парикмахеру в Парисе и попросили его остричь собак. Его всегда это очень оскорбляло, хотя дру-

[3] Примечания: 3

Иисус Христос, будучи в стране Гадаринской, изгнал из бесноватого нечистых духов и позволил им войти в свиней, которые бросились с обрыва в озеро (См.: Лк. 8, 26–39).
~~~

гих дел у него почти не было.

Я сидела в парикмахерском кресле и держала на коленях собаку, пока ее стригли, а потом мы отправились домой с голыми собаками. Дома мой отец взял безопасную бритву и чисто выбрил им грудную клетку. Потом мы помыли их из шланга и оставили сохнуть на солнце. После ланча отец аккуратно написал тремя разными цветами на их боках «ДИККЕНС 1», «ДИККЕНС 2» и «ДИККЕНС 3». Мне было позволено написать имя последней собаки. Нам пришлось держать их, пока краска не высохнет как следует. Я написала «ДИККЕНС 4».

Это было мое любимое время. Весь день мы говорили о том, в чем я ничего не смыслила. О растениях, вкусе вина. Отец ясно объяснил мне, откуда берутся дети. Я думала, надо взять арбузное семечко, положить между двумя кусочками хлеба и щедро запить водой. Я думала, мои родители так и общаются между собой, когда остаются одни. Мы разговаривали и с собаками, которых, кажется, смущало, что они стали такими тощими и голыми.

Порой мне казалось, что у меня просто четверо детей. Чудесные времена. Потом отец умер от удара, когда мне было шестнадцать. Пропади все пропадом.

— Да, — произносит Патрик, — мой отец тоже… Мой отец был волшебником. Бревна у него вылетали прямо из воды.

— И что с ним случилось?

— Он погиб, устанавливая заряды в шахте, где добывали полевой шпат. Компания хотела проникнуть слишком глубоко, и над ним обрушилась порода. Не из-за взрыва.

Просто его завалило. Он погребен в полевом шпате. Я даже толком не знаю, что это такое. Он применяется везде — при изготовлении фарфора, керамики, в инкрустированных столешницах, даже в искусственных зубах. Там я его потерял.

— За праведных отцов, — провозглашает Элис, поднимая стакан.

Беседа снова возвращается к детству, но подруга Клары Элис выхватывает только детали настоящего, чтобы их отпраздновать. Кажется, что у нее нет прошлого, нет предков, как у тех

изваяний с замотанными головами, которые символизируют неоткрытые реки.

Всю ночь, пока они говорят, на небе и в полях собирается летняя гроза. Патрика ошеломляет ночная кухня с этими двумя актрисами. Клара и Элис изображают разных людей, передразнивают их манеру говорить, не замечая, как летит время. Патрик неожиданно для себя играет роль аудитории. Они показывают, как мужчины курят. Обсуждают, как женщины смеются, — хрипло, печально, подобострастно. Он в комнате, наполненной разным смехом, переводит взгляд с Клары, живой, сексуальной, даже когда она потягивается, на бледную, сдержанную Элис. «Мой бледнолицый друг», — называет ее Клара.

В три ночи вдали грохочет гром. Патрик безуспешно борется со сном. Он говорит «спокойной ночи» и уходит на диван, закрыв дверь на кухню.

Женщины продолжают говорить и смеяться, вдали сверкает вспышка молнии. Приблизительно через час они говорят друг другу: «Давай узнаем его тайны».

В темноте деревенского дома Клара с Элис приближаются к постели Патрика. В руках у них свечи и большой рулон бумаги. Они перешепты-

ваются. Откидывают зеленое одеяло с его лица. Этого достаточно. Свечи ставят на прямую спинку стула. Отрезав кусок бумаги портновскими ножницами, женщины прикрепляют его булавками к полу. Они начинают рисовать, старательно и быстро, словно копируя секретный чертеж в чужой стране. Их занятие столь же незаконно. Они подкрались к спящему мужчине, чтобы глубокой ночью нарисовать его портрет и посмотреть, какие тайны он им откроет.

Патрик спит, и некоторое время они работают вместе над листом бумаги, который время от времени рвется под карандашом. Они часто проделывали этот трюк друг с другом, рисовали портрет души — из головы сочится пурпур или желтизна, аура ревности и желания. Под одеялом очертания его тела размыты, и они рисуют то, что им известно или о чем они могут догадаться. Стоя на коленях на полу, они рисуют цветными карандашами, их волосы поблескивают в сиянии свеч. Гнев, честность, заблуждения. Одна из них идет дорогой озарения, другая следует за ней, дополняет фразу, придаст уверенность жесту.

Настенная живопись. Желтый свет мерцает на лице Патрика, лежащем на диванной подушке, на фигурах двух женщин, тайно рисующих

ночью, склонивших головы, словно они вытаскивают что-то из реки. Одна откинулась назад, потягиваясь, тогда как другая изучает портрет.

— Мы ведьмы? — спрашивает Элис.

Клара разражается смехом. Она стонет, словно привидение в поисках замочной скважины. Хлопает ладонями но хлипким стенам, а потом, громко фыркнув, вытаскивает Элис в ночь. Они скатываются с деревянных ступеней, Клара что-то невнятно бормочет, они валяются в лунном свете по цветам и траве и вдруг вскакивают, почувствовав на коже капли дождя, хлынувшего из жарких густых облаков и слившегося с раскатами грома над темным полем, он влажно шелестит на их юбках и вытянутых руках, смывая возбуждение.

Дождь проникает сквозь тонкую ткань их одежды. Элис откидывает назад мокрые волосы. Внезапная вспышка молнии, и Клара видит, как Элис непроизвольно рвется ввысь, сорвав с себя рубашку, чтобы всем телом встретить дождь, потом темнота, потом еще одна короткая вспышка молнии высвечивает, как они, взявшись за руки и откинувшись назад, кружатся вокруг березы под дождем.

Они в экстазе бредут в темноте. Луна скрыта тучами. Но скромный луноцвет, подобно компасу, точно указывает, где сейчас луна, чтобы они могли выть на ее отсутствие.

* * *

Ранним утром он тихо ходит по дому. Поднявшись по лестнице, смотрит в круглое окошко на поля. Ночью Патрик чувствовал, как ветер сотрясает этот хлипкий домик. Теперь здесь царит странный мир: трава и деревья в белом утреннем свете, две женщины спят. Вчера они бегали по дому, бросая друг в друга кусками ревеня, — услышав безудержный смех, он поспешил на шум и застал их на поле сражения. Элис согнулась пополам, по ее щекам текли слезы, а Клара, увидев, как он входит в кухню, внезапно присмирела.

В доме тихо, только скрип половиц под ногами. Патрик заглядывает в спальню. Они спят обнявшись, не замечая дневного света, наполнившего комнату. Он трогает Элис Галл за локоть, и она убирает руку. Он прикасается к ее ладони, и полусонная Элис инстинктивно сжимает его пальцы.

— Привет.

— Я скоро уезжаю, — говорит он. — По-

езд.

— Ммм… Мы сделали тебе подарок ночью.

— Да?

— Она тебе объяснит.

Элис осторожно потягивается, стараясь не потревожить Клару.

— Брось мне рубашку. Я позавтракаю вместе с тобой.

На кухне Патрик режет пополам грейпфрут и протягивает половинку Элис. Та отрицательно качает головой. Она сидит на табуретке в длинной розовой рубашке и смотрит, как он уверенно двигается по ее кухне. Замечает, что он старается держаться как можно незаметнее. Когда он спрашивает, где лежат ложки или лопаточка, она молча указывает на нужные ящики.

Патрик не из тех, кто любит поболтать за завтраком, и через пятнадцать минут он готов идти. Провожая его до двери, она держит его за руку. Он вдруг ее целует слишком близко к глазу.

— Передай ей от меня поцелуй.

— Передам.

— Скажи, что мы увидимся вечером в гостинице.

— Хорошо.

Она плотно закрывает дверь и смотрит в окно, как он шагает к станции, перемещаясь из одной оконной рамы в другую.

Она снова ложится в кровать, где спит Клара, обнимает ее, стараясь вернуть потерянное тепло, и благословляет сонную гавань понедельничного утра.

Его мысли остаются с ними, как отпечаток его руки на их сонной плоти. Вагонное окно холодит щеку. Тоскуя по Кларе, он думает об Элис, которой он не замечал раньше, как будто Элис, к которой прикоснулась Клара, возникла из небытия, словно в сказке.

* * *

Вечером в гостинице «Арлингтон» Патрик изучает большой портрет, который Клара прикрепила к двери. Он вышел хорошо, говорит ему Клара, его душа податлива. Он ей не верит. Разве только его душа раскрывается во сне, разве только сон каким-то образом соединяет проти-

воречивые черты его характера. Ему нравится близость между двумя женщинами, нравится, что они приписывают ему беззащитность.

— Что ты о ней думаешь?
— Она мне нравится.
— Она великая актриса.
— На радио?
— Нет, на сцене.
— Лучше тебя?
— В тысячу раз.
— Да, она мне нравится.

Позже он станет думать о тех минутах, когда он спал, а они вошли со свечами в темную комнату. Явление волшебниц. Вспоминая этот эпизод, он, как никогда, ощущает свою общность с ними. Патрик и две женщины. Предчувствие Нового Мира. Юдифь и Олоферн. Святой Иероним и Лев. Патрик и Две Женщины. Ему нравится эта живая картина, пусть даже он отсутствовал на церемонии, потому что спал.

Иногда, оставшись в одиночестве, Патрик завязывает себе глаза и движется по комнате, сначала медленно, затем все быстрее, пока не достигает в этом занятии необыкновенного совершенства.

Он гордо расхаживает по комнате, ловко обходя абажуры и ныряя под висячие растения, даже бегает и прыгает вслепую через низкие столики.

Патрик с Кларой говорят всю ночь, имя Эмброуза то и дело звучит в разговоре, как стук капели. Всю ночь они говорят о ее намерении соединиться со своим «любимым», звук его имени для Патрика как яд, как слово «никотин». Она уедет завтра. Она не скажет ему, где находится Смолл. Она требует, чтобы он не пытался следовать за ней, когда они окажутся в Торонто, чтобы посадить ее на поезд. Патрик чувствует, что почти ничего не знает о жизни Клары. Он продолжает находить и терять ее черты, как будто открывает ящик и обнаруживает там очередную маску.

В это последнее утро они сидят, полуодетые, в постели. Всю ночь они проговорили, и он чувствует себя немым против мощи невидимого врага, неспособным отговорить Клару от поездки к Эмброузу. Он хочет показать ей свой трюк, вынимает длинный шелковый шарф из рукава ее пальто, складывает его и завязывает им глаза.

Он сажает Клару на кровать и просит не двигаться. Потом начинает ходить по комнате, сначала с вытянутыми руками, потом опускает их, бросается вперед, замирая в дюйме от окна,

резко опускает голову у книжных полок. Он носится по комнате то по прямой, то зигзагами, словно обладает способностями летучей мыши. Прыгнув на кровать, он приходит в восторг от ее пронзительного крика. Он восхитителен. Он великолепен, думает она.

Во время своих передвижений он бормочет: «Видишь этот поднос?» — он подбрасывает его вверх и ловит. «А эту яичную скорлупу на полу я раздавлю, как кости Стампа Джонса. Ты такая красивая, Клара. Я никогда не ослепну. Я хочу каждую ночь засыпать, глядя на твое лицо. Мне мало только дотрагиваться до тебя, вдыхать твой запах». Он бросает яблоко ей на колени, срывает листок с календаря. «Я тренировался несколько ночей, пока ты спала». Он прыгает вперед, откусывает яблоко, жует и продолжает говорить.

В конце концов ей это надоедает. Она слезает с кровати и, встав на ковер в углу, зажимает ладонями уши, чтобы не слышать его нежностей. Ее локти торчат в стороны. Он движется по комнате, почти в исступлении выкрикивая слова любви. Она по-прежнему слышит его, тогда она еще сильнее прижимает ладони к ушам и закрывает глаза. Она чувствует, что пол качается под ней, чувствует, что она окружена, подавлена его вращением.

Внезапно на нее обрушивается мощный удар, его левая рука врезается ей в голову, сбивая с ног.

Упав на колени, она ошеломленно обводит глазами комнату. Патрик, схватив простыню, прикладывает ее к лицу. Он шмыгает носом, на простыню течет кровь. Сползшая с глаз повязка похожа на воротник. Он поднимает на Клару глаза и, словно не видя ее, вновь утыкается в простыню, продолжая истекать кровью.

— Ты сошла с места. Я же просил тебя не двигаться. А ты не послушала.

От боли и дурноты Клара не может подняться. Она понимает, что если попробует встать, то снова упадет. И остается сидеть на полу. Патрик, нагнувшись, рассматривает простыню.

Вот это и называется человеческий фактор, думает он.

~~~

Патрик провел всю жизнь рядом с книгами и их простыми историями. Авторы снабжали своих героев ясными мотивами. Бурные события вырывали действующих лиц из нищеты. В конце
~~~

каждой книги все завещания были исправлены и все любовные истории завершены. Даже отвергнутый любовник признавал, что конфликт исчерпан.

После отъезда Клары Патрик, словно одержимый, моет свою комнату на Куин-стрит. Мыло пенится в ведре, швабра соскребает недельную пыль. Потом он сидит в единственном сухом углу, куда заранее положил сигареты, и курит «Рокси», стряхивая пепел в стоящее рядом ведро. В комнате пахнет больницей. Мебель — стол, стул и клетка с игуаной — сложена на кровати в конце комнаты, выходящем на улицу.

Иногда он оставляет в этом углу книгу. Он уже вдохнул запах ее страниц, ощутил рукой неровность шрифта. Теперь он может проглотить ее, как буханку хлеба. Он стряхивает с руки пепел сигареты и открывает «Диких гусей». *«Об этом прямо никто не говорил, но вся семья ждала Калеба Гейра. Ждал даже Линд Арчер, новый школьный учитель, который этим утром проделал весь путь от Желтой Почты с почтальоном-индейцем и, следовательно, проголодался.* — Клара вытирает лоб носовым платком. — *Казалось, кресло-качалка скрипело: „Калеб! Калеб! Калеб!“ — Это слегка развлекало учителя».* — Клара

прислушивается к коже, покрывающей сердце Патрика.

Он кормит игуану, держа вику в дюйме от безучастного рта. На застывшей мордочке движется только скользящее вниз веко. Животное с другой планеты. Он касается ее челюсти цветком. В окно он видит, как в синем торонтском небе появляются люди, медленно передвигаясь в воздухе, подпирая его. Вокруг него витают фрагменты Клары.

Поцелуй на вокзале Юнион, ее рот полуоткрыт.

— Мне неловко тебя просить, но я не могу возить ее с собой по всей стране. Возьми ее себе.

— Что это? Утешительный приз?

— Не говори так, Патрик.

— Отпусти ее на волю, черт возьми.

— Она слепая!

После минутной запинки:

— Давай ей клевер и вику, побольше воды. Прежде чем кормить, поскреби по клетке. Чтобы дать ей знать.

Он смотрел, как Клара поднимается в вагон — чопорная, с серебряными пряжками. Он побрел домой с клеткой, бившей его по колену, кинул туда капусты и оставил игуану на неделю в одиночестве. До него доносились ее тирады, стук разбитых чашек и стаканов. Игуана знала Клару Диккенс, и знание теперь гнездилось в этом средневековом теле. Патрик верил в архаичные слова вроде «приключаться» и «обреченный». Обреченный Патрик Льюис. Обреченный Эмброуз Смолл. Эти слова пробуждают мысль о колдовстве и предвидении, о хореографии судьбы. Давным-давно ему запретили следовать за ней. Будь Патрик героем, он мог бы стрелой налететь на Смолла. Он мог бы привести своей возлюбленной игуану на серебряной цепочке.

Дорогая Клара, все эти странные призрачные образы. Ночью Роуздейл напоминает аквариум. Подводные деревья. Ты в длинном черном платье идешь босиком по длинному саду Эмброуза, пока его жена спит наверху. И воешь, чтобы потревожить ее сон. Нежные богачи.

У Эмброуза есть класс, потому что у него есть ты. И они это знали — все эти

незрелые люди, родившиеся с деньгами, которым остается только держать их в заднице, как термометр. Слабые богачи. Нежные богачи. Я знаю, почему ты ушла с Эмброузом. Он был портовой крысой. Эмигрантской крысой. Он должен был или победить, или все потерять. Другим достаточно было отдать старшего сына в Аппер-Кэнада-Колледж. Осуществить севооборот. Смолл единственный сумел преодолеть стену, перепрыгнуть через битое стекло. Но мне нужен не Смолл, мне нужна ты…

Дорогая Клара, всю ночь возбужденные препирательства любовников, выходящих из бара «Гринвуд» на той стороне улицы. Я лежу у окна, вдыхая летний воздух, и запоздавшие парочки, думая, что их никто не слышит, соблазняют, упрекают или ссорятся. ***Нет, я не делал этого. Прости. Пошел к черту!*** *Шепот. Звук пощечины, отвергнутая любовь наносит удар, ногти грозят выцарапать глаза. Вся эта борьба за территорию, Клара, за право собственности и удовлетворение*

потребностей, учащенное дыхание во время спаривания, у людей или котов.... душераздирающие стоны, бессвязные слова... ее руки на его лице, стирая его анонимность, он прижимает ее к кирпичной стене. ***Ты что-то ему говорила, что ты сказала? Иди к черту! Что? Ничего!***

Проснувшись, я часто вижу то, что не предназначено для моих глаз. Однажды я услышал странный шорох внизу и выглянул в окно. Мужчина с ковром на плече в сопровождении рыжей собаки. Это возвращался с работы местный вор, Караваджо. Он спокойно прошел подо мной, самозабвенно поедая сицилийское мороженое...

Я проснулся от звука твоего встревоженного голоса. Ты говорила шепотом. Сначала я подумал, что это разговор на улице, но это была ты, и я похолодел в темноте — возможно, это сон, который мне захотелось продлить. Мне знакомы эти неуверенные надтреснутые нотки в твоем голосе, когда ты лжешь или бываешь пьяна. Я хорошо их

знаю. Клара? — окликнул я в темноте. — Все в порядке, все в порядке. Я стоял на матрасе в изножье кровати. Я мог бы коснуться потолка обеими руками. Но ты не слышала. С улицы дул ветер. Тебе ответил мужской смех. Я повернулся и увидел светло-желтую светящуюся шкалу приемника. Повторяли «Тайный час», который шел два-три года назад. Несколько часов я спал под приемник и проснулся лишь от звука твоего голоса. У тебя была эпизодическая роль. По сценарию у тебя были неприятности.

На вокзале я не хотел тебя отпускать. Твое сердитое лицо на фоне бедфордского известняка, ***черт побери, Патрик, оставь меня в покое!*** *Ты вырываешься, мотнув головой, волосы бьются о стену.*

У выхода № 5 ты останавливаешься, медлишь в клубах пара и поднимаешь руки вверх, как ковбой, прося пощады. Перемирие. Нет, мы не шли, тесно переплетя пальцы. Ты убегала от клаустрофобии, которую несет с собой одержимый любовник. Мы положили руки на плечи друг другу, тяжело дыша. Все твои чувства

написаны на твоем лице.

Дорогая Клара, я подошел к тебе и пригласил на танец. Мужчина, который был с тобой, ударил меня кулаком в лицо. Я повторил приглашение, и он опять меня ударил. Я вытер кровь под глазом. Через пять минут я вернулся к твоему столику, но его люди напали на меня и бросили в аллее за домом. В этом сне я давно тебя не видел и любовался тобой в новом платье. Ты была на каком-то большом торжестве, в достойной компании. Я смотрел на тебя, и кто-то меня ударил. Я упал на пол. Я лежал там, глядя на твое платье, а потом меня выволокли из зала. В конце концов я вернулся и пригласил тебя на танец. Случились две вещи. Мы немного потанцевали. Я хотел прижать тебя к себе, но боялся запачкать кровью, и ты сказала: «Все в порядке, Патрик», а потом, когда меня снова стали выволакивать, я смотрел на твое лицо. 13 конце сна мы обсуждали с каким-то китайцем, как нам разогнать гостей.

* * *

Он открыл дверь и, смутившись, быстро отступил назад. Он не ждал ее.

Он прошел в пустые комнаты, указывая на сломанные вещи, которые пытался собрать, на разбитую посуду, которую расшвырял давным-давно, после ухода Клары.

— Что это?

— Стекло, фрагменты головоломки… моя история.

Элис усмехнулась. Как бы там ни было, она довольно много знала про него и Клару.

— Пытаюсь привести свою жизнь в порядок, — сказал он.

— Что ж, с этого следует начать.

Она прошлась по комнате, ни к чему не прикасаясь, как будто все в этом пустом помещении могло иметь отношение к его выздоровлению.

— Когда она уехала? Полтора года назад? Или два?

— Больше. Не так давно.

Он говорил отрывочно. Предложения нуждались в дополнениях, вводных словах, чтобы прояснить не ситуацию, а его состояние.

— Свари мне кофе, Патрик.

Между ними было больше пяти шагов. Когда она подошла ближе, чтобы рассмотреть газетные вырезки на стене, он непроизвольно отпрянул. Он чувствовал себя в опасности. Элис казалась повзрослевшей, уверенной в себе. Она сняла пальто и положила его на пол у двери. Он пошел за ней на кухню, налил в кофейник воду и зажег газ. Стульев не было, и она уселась на стол напротив и стала смотреть, как он стоит у плиты. Здесь она чувствовала себя в безопасности.

— Ты выглядишь усталым, — сказала она.

— О, все хорошо. Физически я в полном порядке, только с головой не так. Мне повезло, в каком бы состоянии я ни находился, тело само заботится о себе.

Он произнес самую длинную речь за много месяцев.

— А вот я наоборот. Только через тело понимаю, что с головой неладно.

— Ты ведь актриса, верно?

— Да.

Его глаза смотрели куда угодно, только не на нее, — дурной знак. Соскользнув со стола, она направилась к нему, потом остановилась, не дойдя нескольких дюймов. Его глаза поймали ее взгляд, метнулись в сторону и благополучно остановились на ее щеке.

— Ну, еще одно движение, Патрик.

Первая улыбка за много месяцев. Он наклонился и прижался к ней, чтобы она не исчезла. Она оказалась меньше, чем он думал. Она не была ни худой, ни очень маленькой, но он ожидал, что ее тело будет другого размера. Он видел рыжеватые волоски у висков, морщинки под глазами.

Вода в кофейнике кипела, но они не двигались. Они стояли вместе, чувствуя спину друг друга, волосы сзади на шее. Успокойся, сказала она, и ему захотелось упасть к ее ногам, чтобы она унесла его в другие страны, в океан, в кровать, — куда угодно. Он слишком долго был один. Возвращаясь с работы, он проваливался ночью в пещеру снов и

потом не слишком ясно понимал, что было сном, а что явью. Это произошло внезапно, их встреча ничего не обещала, ничего не решала, просто она каким-то образом позволила ему жить дальше. Элис пришла в тот день, думал он потом, не ради страсти, а чтобы его спасти, вернуть к жизни. Если кто-нибудь и знал, где Клара, так это она.

На прошлой неделе, у театра «Попугай», он едва не прошел мимо Элис. Он не видел ее два года, с тех пор как они жили на ферме близ Парис-Плейнс, и с трудом ее узнал. Но она окликнула его.

— Ты был на спектакле?
— Нет…

Он растерянно пожал плечами. Безумное лицо, глаза не видят ничего вокруг. Старая, мятая одежда, концы воротничка загнулись вверх.

— Что ты сейчас делаешь? — спросила она.

Он отодвинулся от ее протянутой руки.

— Работаю на лесопилке.
— Приходи как-нибудь на спектакль. А

потом загляни ко мне.

— Да, хорошо.

Это «да» он сказал просто для того, чтобы уйти. Ему хотелось разорвать ее на куски, обвинить в исчезновении Клары. Ему казалось, что подруги затеяли против него какую-то театральную игру. Женское воспитание, лишающее его ума и даже жажды мести. Он повернулся и ушел.

Теперь, взяв Элис за мизинец, он вышел с ней из кухни.

— Давно ты здесь живешь?

— Почти год.

— Здесь только кровать!

— И еще игуана.

— Так, значит, она *у тебя.*

В постели ее натура, ее распахнутость поразили его. Как и внезапный звериный стон у его плеча, когда она была сверху. Они лежали в пустой комнате.

— Наверно, ее мать знает, где она, Патрик.

— Может быть.

— Ты должен ее увидеть.

— Клара мне запретила.

— Ты должен от нее освободиться.

— Знаю.

— И если мы снова встретимся, мы сможем с тобой поговорить… сможем сказать друг другу «здравствуй».

Она произнесла эти слова таким странным тоном, что потом он вспоминал о них по-разному: были они окрашены сарказмом, робкой любовью или грустью?

После того как Элис встала, оказалось, что она потеряла сережку. Она сказала, что это не страшно, что они фальшивые.

* * *

Он отправился к матери Клары в Париж и ужинал вместе с ней.

— Она сбежала и вышла замуж тайком.

— Так, значит, она вышла замуж за Стампа Джонса?

— А потом с ним развелась. Так или иначе, слишком много людей смеялись над его именем. Это было ужасно — жить вместе, а он не хотел его менять. Ей было

всего восемнадцать. Он говорил, что к нему привык.

— Каким он был?

— С хорошей внешностью и плохим характером. Ее доконало хихиканье над книгой записей в гостиницах. Патрик Льюис — вот это имя. Она мне много о вас рассказывала.

— Что она говорила?

— Что вы большевик-романтик с юга провинции Онтарио.

— Что ж, я с востока Онтарио. Продолжайте.

— Она сказала, что соблазнила вас.

— Она так и сказала? Она рассказывает вам такие вещи?

— Да.

— Она потом встречалась со Стампом?

— Сомневаюсь.

— У вас есть его фотография?

Миссис Диккенс поднялась с дивана и направилась на кухню. Он подумал, что она рассердилась, сочла его вопрос бестактным, поэтому пошел на кухню и начал извиняться.

— Забудьте ее, Патрик, прошло уже два

года.

Он рассмеялся.

Она выдвинула один из ящиков и протянула ему фотографию, снятую во время медового месяца. Он и она стояли у какой-то проклятой скалы. Стамп выглядел отлично, но Патрик смотрел на ее лицо. Такое молодое, волосы еще совсем светлые, не темные, как сейчас. Пухлое невинное лицо.

— Глупое лицо, — сказал он, не в силах поверить, что это она.

— Да, — сказала ее мать, — тогда она была глупой.

— Где она?

— Мне он не нравится.

— Он никому не нравится. Вы знаете, где она?

— Там, куда, по мнению Смолла, вы никогда не вернетесь.

— Что вы имеете в виду?

Но он сразу догадался. Догадался, где они. Он был искателем, который смотрел на карты и видел все названия, кроме одного, такого знакомого, что оно, как и его детство, оставалось для него невидимым.

* * *

Патрик смотрит на тонкую полоску лунного света на стене. Он чувствует себя призраком в цепях. Однажды он проснулся от Клариного шепота в изножье его кровати, в номере гостиницы в Парисе. Мокрый как мышь. В два ночи. Она расстегивала чертовы пуговицы на платье.

…А в другой раз сползла с постели, чтобы погреть на батарее руки… Он заставляет себя проснуться и вспоминает, что она бросила его. Встает с постели и подходит к стене у батареи, к которой она прислонялась.

Он стоит в их прежнем номере в гостинице «Арлингтон». Не включая света, он наклоняется и прижимается лицом к стене на уровне живота. Здесь их настигло исступление, сексуальное безумие. Он различает на белой стене едва заметный след ее позвоночника.

~~~

Эмброуз Смолл держит над головой зажженную спичку, ее огонек освещает плечи в ночной рубахе. Четыре утра. Вверху стоит керосиновая
~~~

лампа под шелковым абажуром. Он слышал шум. Другой рукой он поворачивает медную ручку. Пламя и газ, соединившись, заливают комнату желтым светом. Патрик Льюис в пальто сидит в кресле и смотрит прямо на него.

Смолл придвигает стул. Обоюдное смятение, как будто каждый из них смотрит в зеркало.

— С чего, ты хочешь, чтобы я начал, — говорит Смолл, — с детства?

Патрик улыбается.

— Я не хочу говорить о тебе, Смолл. Мне нужна Клара. Что-то в ней меня околдовало… Не знаю что.

— Ее незавершенность, — спокойно произносит Смолл.

— Может быть.

— Кто еще знает, что я здесь?

— Никто. Я приехал только для того, чтобы с ней поговорить.

— Я разбужу Клару. Подожди на улице, она выйдет и выслушает тебя.

Патрик выходит и садится в темноте на одно из двух стоящих на газоне кресел. Вокруг растут сос-

ны, он чувствует запах камеди. До него доносится шум реки. Он знает это место с детства, большой дом, принадлежавший Ратбанской лесозаготовительной компании, во время сплава леса он каждый день проходил мимо. Последний свидетель той эпохи. Он подходит к окну и заглядывает внутрь. В гостиной темно. Должно быть, Эмброуз унес лампу в спальню.

На пальто и шею Патрика стекает вода с карниза, он напрягается и делает в темноте шаг назад. Но ведь дождя не было. Почувствовав металлический запах, он поднимает глаза и мгновенно понимает, что дождь здесь ни при чем: ему на плечи льется керосин, он слышит, как чиркает смертельная спичка в руке скорчившегося на крыше Смолла. Видит, как она летит, словно посвящение в рыцари, к его плечам.

Патрик мчится по тропинке к реке и внезапно понимает, что горит. Он вынимает нож из кармана и разрезает на бегу пальто. Останавливается и хохочет. Он невредим. Потом, увидев отблески света на деревьях, он понимает, что лопатки объяты огнем, опять бежит — мимо бочки для мусора, мимо лодки на песке — и с плеском падает вниз животом на мелководье, продолжая двигаться вперед. Воздух, оставшийся в его пальто, вздува-

ется горящим пузырем. Патрик опрокидывается на спину. Он остается сидеть в реке, боясь высунуть плечи, над поверхностью воды видна лишь его голова. Он не чувствует боли, если не считать ладоней, в которых он по-прежнему сжимает нож. Патрик вонзает его в речное дно. Порезы на руках и груди, где он рассек пальто, саднят.

Он поднимает голову как раз вовремя. На берегу стоит Эмброуз. В воздух летит бутылка с горящим горлышком, и, когда она касается воды, взрыв, вспенив воду, заливает ночь серебром. Левый глаз Патрика становится мутно-белым, и он понимает, что, возможно, окривел. Он хватается за нож и, пошатываясь, бредет к берегу. Эмброуз не двигается. Не двигается он и тогда, когда Патрик подходит к нему и бьет его ножом в плечо.

Потом Патрик бросается к старой гостинице в деревне Беллрок, в миле отсюда. Не доверяя себе, он бежит не кратчайшим путем через поля, а по дороге, оставляя позади дом, где он родился, мост, с которого удил рыбу, вскоре он поднимается по лестнице в свой номер.

Когда Патрик очнулся, он по-прежнему плохо видел одним глазом. Мокрая одежда валялась на стуле перед небольшим камином. Он то и дело вскакивал, заворачивался в тонкое одеяло

и садился у окна, выходившего на реку. На ту же реку — Депо-Крик, — что протекала мимо дома Смолла, обезображенную там, где лесорубы срыли берега, чтобы сделать запруду. Ребятишки у причала по колено в воде ловили рыбу. Он сидел у окна, чувствуя, что от стекол дует. Казалось, его руки, неподвижно лежавшие на коленях, принадлежат кому-то другому. За дверью раздался голос Клары.

Он увидел в зеркале свою тень. Закутался в одеяло, как в плащ, и отодвинул засов плечом.

— Поверни ручку, у меня не получается.

Когда она вошла, он убрал руки, пропуская ее. Лапы боксера. Опустив их, он почувствовал боль.

— О господи, это и в самом деле ты.
— Привет, Клара.

Она стояла в расстегнутом пальто, руки в карманах, и внимательно глядела на него. Его лицо было мокрым, и он догадался, что из поврежденного глаза текут слезы. Когда ничего не видишь, подумал он, то ничего не можешь контролировать. Патрик очень часто представлял ее себе,

но в этом пальто он ее еще не видел. Он поднял левую руку, чтобы вытереть лицо одеялом, но на уровне плеча рука начала дрожать. Клара, шагнув вперед, вытерла ему щеку, потом прикусила губами мокрую соленую ладонь.

— Я этим глазом не вижу.

Ее рука снова поднялась к его лицу, пальцы ощупали кожу на щеке.

— Чувствуешь мое прикосновение?
— Да.

Ее пальцы двинулись к коже черепа. Он не знал, куда деть руки. Они ему мешали.

— В чем дело?
— Мои руки.
— Обними меня, раньше мы прикасались друг к другу.
— Я не хочу, чтобы ты подумала…

Он усмехнулся, почувствовав боль в лице. Они стояли рядом. Его руки лежали с обеих сторон на грубом материале ее пальто, ее пальцы осторожно ощупывали кожу у него под волосами.

— Здесь кровь. Какого черта вы там делали?

Освободившись из его объятий, она движением плеч сбросила пальто.

— Я знаю доктора в городе, но сначала я приведу тебя в порядок.

Патрик подошел к окну и выглянул на улицу. Она встала рядом.

— Я представляла себе, как мы встречаемся с тобой в разных уголках земного шара, но никогда не думала, что мы встретимся здесь. У реки, о которой ты мне рассказывал.

Она приникла к нему головой, и они стояли неподвижно, как будто спали. Ее палец прочертил тонкую линию вниз от плеча, параллельно разрезу.

— Было бы ужасно, если бы мы встретились в идеальных условиях. Тебе не кажется?

Поставив рядом тазик с горячей водой, она

старалась смыть с его волос засохшую кровь. Он очень устал и боролся со сном. Выжав полотенце насухо, она принялась промывать его порезы: один на груди, другой на плече, потом на руках, и он постепенно начал двигать онемевшими пальцами.

— У тебя есть бритвенные принадлежности? Ну конечно есть.

Она провела ментоловым карандашом по трем порезам возле уха, а после предложила его побрить. Сполоснула бритву и села перед ним на стул, расставив ноги.

— Как ты, Патрик?

Последовал нервный смешок, который она любила.

— На грани, как обычно.
— Там и оставайся.

Он посмотрел ей прямо в глаза, стремясь к ней всем своим существом. Впервые он смотрел на нее не отрываясь. Она заметила, что на его лице нет боли, одно желание.

— Поговори со мной, Клара.
— Все эти мелкие шрамы…

Она вытерла бритву об одеяло. Он выглядел старше. Более незащищенным. Хороший способ узнать чье-то лицо, подумала она. Ей нужно было побрить его раньше. Тогда она скорее бы поняла, какой он хрупкий. Он был человеком привычки, принадлежал прошлому веку. Ей захотелось раскрасить его лицо, следовать очертаниям его щеки и брови. Создать еще один духовный портрет. Сейчас он был не таким безучастным, его кожа, подобно поверхности пещеры, могла изменить нанесенный на нее рисунок. Она покрыла мыльной пеной его лицо, ей захотелось изваять его голову. Пальцем она написала у него на лбу «ДИККЕНС 5».

— Я не хочу терять тебя, Патрик. Я не могу быть с тобой, но я не хочу тебя терять.

Она поднялась со стула, потянулась, разминая затекшую спину, и попятилась к оклеенной обоями стене. Потом подошла к окну. Патрик смотрел прямо перед собой на обои, как будто ее тело осталось там. Цветы, виноградная лоза, кое-где

английские фазаны в листве, кое-где отодранные куски — следы, оставленные пьяным лесорубом, ищущим дверь. Патрик сидел и смотрел на расстилавшийся перед ним ландшафт.

— Ты знаешь, что в этих местах видели Смолла? Об этом написали торонтские газеты, и я подумал, что это не случайно. Он должен был жить там, откуда я пришел, потому что с ним была *ты.* Он выспрашивал у тебя все подробности, как и я. Верно?

— Ему хотелось знать, откуда ты. Я рассказала ему не так уж много. Ты его не интересуешь, Патрик. Он богач, сбежавший от богачей. Он защищается. Он никогда не поверит, что ты пришел за мной.

Он повернул голову и стал смотреть на ее лицо на подушке, глядевшее в потолок.

— Между прочим, я знал, что мне достанется, когда я снова тебя увижу. Мне снились сны: я подхожу к тебе на танцах, и меня избивают.

Приподнявшись, она дотронулась до его груди.

— Доктор наложил хорошую повязку.

— Смолл знает, что ты здесь со мной?

— Наверное. Давай не будем про него говорить, Патрик. Утром я вернусь.

Через несколько секунд он уже спал. Из-за лекарства он весь вечер был вялым. Она долго смотрела на него. Около трех ночи она почувствовала его рядом. Они прильнули друг к другу, стараясь не задеть его раны, чувствуя друг друга всем телом, как во сне. Потом она прошла в ванную и появилась в виде силуэта. Патрик был умиротворенным и усталым.

— Спокойной ночи, Клара.

— Спокойной ночи, Патрик Льюис, Мой друг.

Он спал, держа ее за руку.

Она оделась в темноте и вышла, оставив его спящим. Пока она шла домой мимо Грантов и Миков, над Гусиным островом взошло солнце, блеснув на жестяной крыше дома мистера Мойра. Она встретила Джорджа Гранта-младшего с

братом Расселом, гнавших домой коров, и они поговорили несколько минут. Повернув, она спустилась по извилистой тропинке к дому, где они сейчас жили и откуда они, вероятно, вскоре съедут. Между исходной и конечной точкой своего путешествия она была безумно счастлива.

Не заходя в дом, она спустилась к берегу, уселась там и стала глядеть на воду, прислонившись к красной лодке. Было холодно, но она была в пальто и занята мыслями. Она не знала, что происходит сейчас в гостинице, не знала, что на рассвете Патрик, проснувшись, обнаружил, что простыни испачканы кровью, насквозь пропитавшей его повязки, обнаружил даже безупречный отпечаток ее руки на обоях, кровавый след на английских цветах его спальни, где она, склонившись над ним, оперлась на стену, чтобы сохранить равновесие во время их близости. Бинты свисали с него, как мягкие белые ребра, а в это время Эмброуз, выйдя из дома, увидел, что Клара задумчиво сидит на берегу и смотрит на реку Патрика.

Книга вторая

Дворец очищения

~~~

В туннеле под озером Онтарио два стоящих в грязи человека пожимают друг другу руки. Их испачканные землей лица, повернувшись, смотрят в камеру, рядом лежат кирка и лампа. На мгновение, пока изображение фиксируется на эмульсии, все замирают, другие рабочие молчат. Потом Артур Госс, городской фотограф, складывает треногу, собирает стеклянные пластинки, снимает с крюков связку лампочек, освещавших уходящий в глубину туннель на заднем плане, проходит со своей техникой пятьдесят ярдов до приставной лестницы и выбирается на солнечный свет.

Работа продолжается. Лопата вонзается в твердую глину. Когда люди натыкаются на скальную породу, они жгут ее и разрушают. Заполняют сотни бочек жидкой, чавкающей грязью и волокут из туннеля. Туннель прокладывают под озером на востоке города, чтобы установить впускные трубы для новой водоочистной станции.

1930 год. Единственное, что видит Патрик, копая в бурой скользкой темноте, — как лопата
~~~

погружается в глину. Он чувствует, что перед ним целый материк. Рабочие копают туннель под одним из самых больших озер Северной Америки, рядом с шипящей лампой, соревнуясь в скорости со своими тенями. Каждый удар по толще глинистого сланца передается от ладоней к плечам, болью отзываясь в теле. Минут через двадцать на Патрика и других проходчиков наваливается свинцовая усталость, немеют руки, пересыхают легкие. Проходит еще час, потом еще четыре часа до перерыва, когда им дается полчаса на еду.

За восьмичасовую смену никто не произносит ни слова. В ответ на грубость бригадиров Патрик молчит, как молчат итальянцы и греки. Восемь часов в день воздух вокруг них колышется в тусклом свете. Издалека слышен непрестанный шум насосов, откачивающих воду, которая постоянно хлюпает у них под ногами. Все утро они, теряя равновесие, скользят по мокрой глине, мочатся там, где работают, едят там, где остались чужие экскременты.

Пока откатчики идут вперед с кирками и лопатами, торкретировщики наносят смесь бетона с песком на стены, чтобы те через несколько часов не обвалились. А вдруг они копают неправильно — всего на градус выше, чем предусмотрено

безумным планом начальника строительства Харриса, задумавшего брать воду в трех тысячах трехстах ярдах от берега, — и туннель подойдет слишком близко ко дну озера Онтарио? Они представляли себе, как ворвавшийся в туннель поток обрушивается на них своей смертоносной тяжестью.

Когда проходчики наталкиваются на скальную породу или сланцы, бригадир приказывает освободить туннель и отогнать назад вьючных мулов. Из толпы рабочих выходит Патрик. Он снимает ремень с пряжкой, похлопывает по мокрой одежде в поисках других металлических предметов и ставит на плечо коробку с динамитом. С лампой в руках он направляется в дальний конец туннеля. Вокруг тишина — ни шума ветра, ни звука лопат. В темноте он слышит только собственное дыхание и хлюпанье воды под ногами.

В конце туннеля он направляет свет лампы на выросшую перед ним темную стену, пытаясь представить себе структуру скальной породы, ее форму, наличие трещин. Ставит лампу на землю и бурит шурфы для динамита. Только в это время он видит свою работу вблизи. Свет лампы льется на мокрую землю. Однажды в ее бледном свете он заметил окаменелость, головоногого моллюска,

он вырезал его из грунта и бросил в карман.

Хотя Патрик иногда работает с динамитом вместо штейгеров, большую часть времени он копает вручную с откатчиками. За каждый из заложенных зарядов ему платят дополнительно. Работа в замкнутом пространстве и неопределенность исхода никого не привлекают, но в этом страшном месте, где Патрик чувствует себя изгоем, занятие это приносит ему облегчение. Он применяет старые навыки, полученные от отца, — хотя тогда они работали при солнечном свете, на реке, где бревна медленно наползали друг на друга.

Он устанавливает пороховой запал, который будет гореть со скоростью ярда в минуту, и поджигает его. Берет лампу и возвращается назад, к остальным. Он медленно бредет по туннелю с лампой в руках, и его гигантская тень перемещается вместе с ним. Добравшись до участка, где столпились другие рабочие, он слышит вместе с ними гул рухнувшей породы, которая, сместившись, раскололась на куски в далекой тьме под озером.

С каждым часом в туннеле становится жарче. Люди снимают рубахи и прибивают их к твердой стене штырями. По пути домой Патрик узнает

проходчиков по рваным дырам на спине. Это их тайный знак, словно след от пули в левую лопатку. В конце дня они выбираются из туннеля на пустынную стройплощадку, где раньше был лесопарк Виктория, а теперь сооружается водоочистная станция. От их тел поднимается пар.

Патрик возвращается домой на исходе дня. В сухом воздухе глина на одежде засыхает, руки и волосы становятся белыми. Взяв нож, он отскребает грязь на ботинках и отворотах брюк, проводит лезвием но шнуркам. В своей комнате на Уайетт-авеню он бросает одежду в угол, кормит игуану и бредет к постели. В шесть утра он снова берет жесткую, как доспехи, одежду и, поднимая клубы пыли, колотит ею, пока она не сделается мягкой, по стене рядом с пожарной лестницей. В «Томпсон грилл» он за десять минут съедает завтрак. Он не читает газету, просто смотрит, как руки официантки разбивают яйца. Когда он спускается под землю, его одежда снова отсыревает, как будто он попал под дождь.

Бригада из девяти человек движется в конец туннеля, с тремя фонарями. В воздухе пахнет застарелым потом от их тел, поэтому фитиль в лампе подкручивают, чтобы выжечь запах. Слышится ржание мулов и тягловых лошадей,

живущих прямо здесь, они подвозят к лестнице выбранный фунт и бочки с грязью. Когда животных спускали на веревках в шахту, они отчаянно кричали, думая, что их хоронят заживо. Патрик и остальные рабочие копают молча, не забывая о зубах животных, гораздо более опасных, чем их крик. Лошадей стреножили, чтобы они, шарахнувшись, не поранились о стены, их спустили на сорок футов под землю, и они останутся там, пока не сдохнут или пока туннель под озером не достигнет назначенной цели. Но когда это будет? Мозг мула знает об этом не больше, чем тело человека, который прокапывает ход в отвесной глиняной стене.

А на поверхности земли, подобно распускавшимся на дереве цветам, появлялись котлованы и различные конструкции. Были привезены гигантские центробежные насосы, стоившие дороже жизни, с лопастными колесами в форме раковины, — воплощая мечту начальника строительства Харриса, они погонят воду вверх, в отстойники. Подъемные краны забили в грунт восемьсот тонн стальных свай, изготовленных в Су-Сент-Мари. Грузовики доставили кирпич из Куксвилла.

Подрядчики со всей провинции предлагали

свои изделия и навыки для строительства водного дворца. Тесаный камень от «Ричи компани», бетон от Раймонда, кровельные материалы и листовой металл от «Хитер энд Литтл», художественный чугун от «Акитекчерал бронз энд айрон уоркс», лифты от «Отис-Фенсон энд Тернбулл», стекло от «Хоббс глас», штукатуры от «Стросс энд Скотт», высокие двери от «Ричард Уилкокс компани». «Бавингтон бразерс» прислали маляров, «Беннет энд Райт» отвечали за отопление и вентиляцию, линолеум поступал от «Т. Итон компани», битумное покрытие полов — от «Валкан асфалт». Лабиринты проводов были уложены «Канадиан комсток», дизайн пола разработал Александер Марри, облицовку плиткой и тераццо выполнила итальянская компания.

Харрис мечтал о стенах из мрамора и медных крышах. Он уничтожил лесопарк Виктория и возвел на склоне, спускавшемся к озеру, главное здание водоочистного дворца. Архитектор Помфри спроектировал вход в виде городских ворот в византийском стиле, внутри же сооружение должно было олицетворять собой идеальный город. Изогнутые медные перила на трех лестничных пролетах, воплощавшие безупречную фантазию. Изящный скос башни, навевающий

мысли о Египте. Харрис в мельчайших подробностях представлял себе здание задолго до того, как его воздвигли, знал его как свои пять пальцев — западное крыло, восточное крыло. Спад производства и протесты общественности затормозили строительство, но, несмотря на это, половина работы была сделана за год. «Очертания города меняются быстрее, чем наши бренные сердца», — любил напоминать своим критикам Харрис, цитируя Бодлера. Он вел работы точно так же, как делал это при строительстве виадука на Блор-стрит или водохранилища на реке Сент-Клер: людей нанимали ежедневно для земляных работ, вырубки кустарника, корчевания пней, выравнивания берегов реки. Начальник строительства с легкостью перечисляет факты, швыряет их журналистам, как фокусник апельсины.

Но этот дворец Харрис строит ради себя. Ради своей необычной, давнишней мечты о воде, которая, согласно его плану, потечет по виадуку на Блор-стрит. В то время никто, кроме него, еще не думал о воде. Харрис вознамерился возвести для нее дворец. Ему был нужен лучший декоративный чугун. Медный лифт, поднимающийся из служебного помещения в здание фильтрации воды с розовым мраморным полом. Неови-

зантийский стиль позволял гармонизировать технические элементы. На фризах изображались стилизованные лопастные колеса. Ему нужна была керамическая плитка «в елочку», которую доставляли из Сиены, часы в стиле ар-деко, высокие окна, выходящие на очистительные пруды глубиной четыре фута, задумчивые и томные, словно средневековые водные сады.

Но прежде всего ему было нужно пробить под озером туннель длиной одну милю, организовать ручные земляные работы и доставку на мулах труб для забора воды. Но была и другая грань его мечты. Та, что являлась в протянувшемся к нему, как щупальце, кошмаре, в котором лица людей, работавших под нескончаемым конденсатным дождем, были нечитаемы, стерты.

Он послал в туннель Госса с его фотографами, но сам туда не спустился. Он знал все звенья водоснабжения города, дневное потребление воды, скорость ее прохождения через фильтрующий слой, путь хлора и сернистого газа к очистным сооружениям, знал результаты ста девятнадцати ежегодных инспекций коллекторов сточных вод, примерное число клапанов и кессонов на насосных станциях Восточного Торонто, знал двухмильную водоочистную магистраль, ко-

торую за год проложили от водохранилища Сент-Клер до надземной насосной станции, знал ход строительства резервуара на Джон-стрит…

Такова была хореография 1930 года.

На этих фотографиях влага в туннеле кажется белой. Белая рубаха на штейгере, белая щелочная отметина на камне, который предстоит взорвать. Все остальное погружено во тьму. Пепельно-серые лица рабочих. Незавершенный мир. Люди работают, пока горит свеча. Они находятся в переднем отделе коры головного мозга Роланда Харриса, лежащего на кровати в своем доме на бульваре Невилл-Парк, в крошечном мире его сна.

Какой странный сон. Молчание людей, выходящих из дыры в земле в облаке пара. Лошади под озером Онтарио. Они глотают воду в миле с четвертью отсюда, возвращают влагу в его тело и выплевывают ее кристально чистой.

* * *

Почти всегда Патрик завтракал в «Томпсон грилл» на Ривер-стрит, где официантка за годы тренировки сумела свести к минимуму движения при заваривании кофе или переворачивании

яичницы. Запястья в пятнах ожогов от горячего масла, глаза вечно прищурены от дыма.

Если она и поглядывала на посетителей, то делала это украдкой. Она казалась самодостаточной, казалась неким подводным существом в искусственном желтом свете узкого помещения, выходившего окнами на улицу. В потрескавшихся стеклах колыхались тени. В официантке ощущалось что-то временное, хотя она работала здесь давно. То же самое можно было сказать о большей части посетителей «Томпсон грилл».

Обычно Патрик садился рядом с неубранной посудой и наблюдал, как пальцы левой руки официантки подхватывают чашки и стаканы, пока правая — мышцы, совершая сложное движение, напрягаются под кожей — вытирает стойку. Лишь несколько месяцев спустя он заметил в распоровшемся шве татуировку на ее плече.

Он начал верить, что она обладает могуществом богини и способна покарать или помиловать. Преобразить того, кого она коснулась, схватила за запястье своей крепкой рукой с затвердевшими до самого плеча мышцами, где притаилось таинственное темно-синее существо. Его глаза не хотели смотреть ни на что другое.

Он приколол к стене над кроватью записку:

«Водоочистная станция, воскресенье, 8 вечера» — на случай, если забудет, хотя это было единственное приглашение за два года. «Фермер из долины нашел себе жену…» — напевал он про себя, покупая продукты на Истерн-авеню. Патрик любил эту песню. «Нашел себе жену…» — бормотал он, расхаживая между македонцами, словно заучивая пароль. В юго-восточной части города, где он теперь снимал комнату, жили в основном эмигранты, и он ходил повсюду, не слыша ни одного знакомого слова, абсолютно никому не известный. Его единственным зеркалом были люди на улице, македонцы и болгары. Он работал вместе с ними в туннеле.

Он узнал, что по-македонски «ящерица» — *гуштер,* — и наконец произнес это слово, чтобы объяснить, почему он каждый вечер спрашивает у прилавка с фруктами клевер и вику. Это был прорыв. Женщина посмотрела на него, поправила произношение и прокричала это слово своей соседке. Та, выйдя из-за ящиков, нарисована в воздухе очертания ящерицы. *Гуштер?* Потом четыре женщины и двое мужчин окружили его, отчаянно пытаясь преодолеть разделяющий их языковой барьер. Его неутолимая страсть к вике озадачивала их. Он отправился в центр города,

купил немного вики и вернулся, чтобы показать македонцам. На следующей неделе, когда он шел по Истерн-авеню, хозяин лавки помахал перед ним пучком вики. Вика называлась *фи-и.* Они перешли к более серьезным разговорам. Живое существо, *гуштер,* тоже было переведено на македонский. Окружив Патрика, македонцы пытались понять, сколько у него игуан. Он выращивает их на продажу? Конечно, они знали, где он живет, видели желтый свет в его окнах, выходящих на Уайетт-авеню, знали, что он живет один, знали даже, что он съедает банку персиков в неделю. Персики по пятницам. Они послали кого-то за Эмилем, лучше всех говорившим по-английски, и мальчик, появившись, сказал: «Персики по пятницам, так?»

Патрику стало неловко, что о нем известно так мало. Он свел себя почти к нулю. После работы в туннеле под озером он возвращался в сумерках домой. Его радио не выключалось за полночь. Кажется, он больше ничего не делал. Они одобрили его финский костюм. *По модата елегантен!* Что означало: стильный! стильный! Ему вручили македонский сладкий пирог. И Патрик, окруженный дружбой и участием, неожиданно улыбнулся и почувствовал, как по его лицу к жестким, в

македонском стиле усам текут слезы. Елена, великолепная Елена, которая уже год продавала ему вику, сняв с шеи белый шарф, протянула ему. Он поднял глаза и увидел мужчин и женщин, которые не понимали, почему он плачет среди чужих людей, которые прежде были как бы скрыты от него за темными ставнями на его улице, нет, на их улице, потому что он был здесь чужим.

А потом ему пришлось запоминать новые имена. Прозвучавшие неожиданно официально, начиная с Елены. Женщины пожимали ему руку, мужчины обнимали и целовали, и всякий раз он говорил: Патрик, Патрик, Патрик. Понимая, что теперь ему придется помнить каждого в отдельности. И потому что был полдень, а духовой оркестр русской миссии с Кинг-стрит играл в пятидесяти ярдах от них, его пригласили на ланч, который был устроен рядом с ящиками и ларьками. Он был почетным гостем. Елена сидела по одну сторону от него, Эмиль по другую. Полный стол новых друзей.

Ему принесли тарелку капустных рулетиков — *сарми,* как сказала Елена, — и он внезапно осознал причину отвратительного запаха, доносившегося до него в последний год. Эмиль описал ему технику вымачивания капустных листьев,

которые на несколько дней оставляют в растворе соли и уксуса. Патрик ел все, что клали ему на тарелку. За кофе Коста, хозяин ресторана «Охридское озеро», задал вопрос Эмилю. Эмиль сначала посоветовался еще с двумя-тремя македонцами, чтобы выяснить, уместен ли вопрос. Затем повернулся к Патрику: «Что ты еще умеешь делать?» За столом воцарилось молчание. Елена, накрыв своей ладонью руку Патрика, уточнила через Эмиля: «Если ты ничего не умеешь, не важно». Другие люди за столом закивали.

— Раньше я был искателем. И еще я умею работать с динамитом.

После перевода Эмиля воцарилось еще более глубокое молчание. До Патрика доносилась каждая нота оркестра русской миссии. Потом Коста подпрыгнул и что-то крикнул Патрику. Его взгляд был полон гнева и страсти. Эмиль повернулся к Патрику, ему пришлось кричать, перекрывая гул за столом: «Он говорит: „Я тоже, я тоже“». Коста схватил круглую буханку хлеба, отбежал от скамьи и, пнув ногой, запустил по направлению к оркестру русской миссии.

Позже в тот же день, когда Патрик показывал игуану всей улице, Коста сказал: «Водоочистная

станция, воскресенье, восемь вечера. Собрание». И ушел, не дав Патрику времени ответить или задать вопрос.

~~~

Через час после того, как спустились сумерки, люди начали молча приходить большими и маленькими семьями на склон холма близ водоочистной станции. Возникая из темноты, подобно ночным бабочкам, они направлялись к тонкому прямоугольнику южного портала. Движение вскоре прекратилось, волна тел растаяла, как тень облака на склоне.

Внутри здания было светло и шумно. Здесь нелегально собрались представители разных национальностей, и грохот машин заглушал их голоса для тех, кто мог бы проходить по Куинстрит в ста ярдах отсюда. Звучала разноязыкая речь, и Патрик вслед за толпой прошел к стульям, расставленным вокруг временной сцены. Заметив Косту, который приветствовал и рассаживал людей, он смотрел на него до тех пор, пока тот не поймал его взгляд. Патрик помахал ему, Коста поднял руку и продолжал заниматься своим делом. Патрик почувствовал себя ужасно одиноким
~~~

среди этих смеющихся людей, которые обменивались новостями и держали на коленях детей.

На сцене играло четверо музыкантов. Здесь проходил и концерт, и политический митинг, люди собрались незаконно и ждали речей и развлечений. Патрик нашел свободное место и глотнул из фляжки. Почти сразу же электричество погасло, остался только свет керосиновых ламп на краю площадки. На сцену толпой вышли куклы, гремя деревянными костями. Стоявшие полукругом лампы освещали желтым светом эту часть водоочистной станции — генераторы, первые ряды зрителей, мозаичные плиты и медные стойки перил. Патрик, подняв глаза вверх, заметил на верхнем уровне едва различимую решетку, там, должно быть, лежали в темноте кукловоды.

В круг света, размахивая руками, вошли сорок марионеток. Мужчины с усами и бородой, женщины с нарумяненными лицами. Одна кукла была ростом с человека. Этот великан играл главную роль в спектакле. Ярко раскрашенное лицо, вокруг глаз с зелеными тенями желтые круги, делающие их похожими на мишени. Казалось, куклы испытали какое-то потрясение. Перед тем как сделать очередной преувеличенно разма-

шистый шаг в опасной новой стране на сцене, их ноги долго нащупывали путь. Одежда их представляла собой смешение разных народных костюмов. Танец продолжался не меньше пяти минут, прежде чем Патрик понял, что большая кукла — человек. Да и то лишь потому, что, отказавшись от кукольных движений, она принялась кружиться с невозможной для дерева гибкостью.

Большая кукла отделилась от других. Она стала главным действующим лицом не из-за размера, а благодаря движениям и особенностям характера. Возможно, эта необычная тряпичная кукла противостояла необычным обстоятельствам. На лице, украшенном кудрявыми усами, читались тревога и волнение, герой был амбициозен, испуган и порою жаден. Он демонстрировал то страх, то желание. Другие куклы изображали богачку с лицом цвета сливы, полисмена, коварного друга и властную старуху. Герой объединял их всех. На сцене не было ни разговоров, ни барабанного боя, ни пения. Только топот ног, только деревянные руки, касавшиеся друг друга легко, как ноготь касается стекла. Куклы разбредались по сцене или сбивались в кучу, подобно хору, предостерегая амбициозного героя, грозя ему законами. Чужак, наивный и общительный, все делал не так. Его

лицо, несмотря на усы, было юным и печальным. Он был в финской рубахе и сербских брюках.

Интрига набирала силу. Глупо хихикая, чужак предстал перед властями, не умея говорить на их языке. На него посыпались оскорбления. Его лицо застыло. Его стали бить, но он не издал ни звука, только затравленно смотрел на руки, наносившие удары. Потом он упал на пол, жестами моля о пощаде. Сцена длилась бесконечно. Патрику захотелось стереть яркую краску с лица куклы. Карикатура на культуру. Он не мог отвести глаз от этого лица.

Публика в зале молчала. Только со сцены доносилось ворчание властей. Все ждали, когда большая кукла заговорит, но она не могла сказать ни слова. Карикатурно густые брови, большой нос, кудрявые усы — все эти пародийные черты врезались в память. Когда фигура начала кружиться, пот окрасил парчовую розовую рубаху на плечах и спине в кроваво-красный цвет. Она топнула ногой, пытаясь заговорить. Другие куклы, раскачиваясь, как бамбук, собрались на одной стороне сцены. Фигура опустилась на колени и принялась хлопать одной рукой по деревянному полу, словно прося о помощи, — в безмолвие спектакля ворвался нестерпимо громкий звук.

Зрители стали хлопать в унисон, аплодисменты отзывались эхом в высоких сводах водоочистной станции. Патрик был не в силах пошевелиться, его глаза были прикованы к скорчившейся фигуре, к маниакально колотящей по полу руке. Это было невыносимо. Это было абсурдно. Ему хотелось, чтобы зал утих, чтобы кукла перестала испытывать страх. Он видел обведенные желтыми кругами глаза, кровавую от пота рубаху, глаза на разрисованном лице смотрели снизу вверх, как у собаки. Патрик встал и, спотыкаясь, двинулся к проходу. Ему хотелось оказаться где-нибудь еще, уйти из здания. Пульсация аплодисментов, накрыв его, все убыстрялась. Каждый его шаг отзывался ужасным шумом. Патрик оказался среди оркестрантов, безмолвных оркестрантов, сидевших здесь в ожидании следующего акта, когда их позовут играть. На коленях у них лежали инструменты, своими изгибами и извилинами напоминавшие замороженные органы человеческого тела. Он полез вверх и поскользнулся, не в силах отвести глаз от лица-маски и хлопающей белой руки. Он шагнул через лампу, поднялся на сцену и, подойдя к обессиленной фигуре, увидел, что исполнитель гораздо меньше, чем ему казалось, что это женщина.

Он встал на колени и взял ее за плечи, коснувшись влажной спины. Потом нагнулся, поймал руку, продолжавшую колотить по полу, словно она принадлежала автомату или пловцу, неспособному остановиться. Оторвал ладонь женщины от пола и медленно положил ей на бедро. Потом он поднял глаза и посмотрел сквозь ореол света во внезапно затихший зал.

Множество людей стояло даже на верхнем ярусе. Их было на сотни больше, чем он думал. Он оглянулся на женщину. Костюм из искусственного шелка, дешевого блестящего материала, мокрый от пота. Вблизи в ней не было ничего от той фигуры, которую он видел на сцене. Она казалась поблекшим изможденным манекеном. Пот прочертил дорожку в толстом слое грима. Глаза, прячущиеся в кругах краски, взглянули на него, и в них мелькнуло изумление. Она подалась вперед. Его рука скользнула по ее влажной щеке. Он забыл, где находится. Женщина встала, опершись на его плечо. И начала медленно спускаться со сцены к керосиновым лампам, широко раскинув руки и время от времени хлопая в ладоши. Раз. Два. Три.

Потом она подняла раскинутые руки, и зрители вскочили с мест, захлебываясь от восторга. Она

поднесла палец к губам, и зал затих. Звучным голосом она объявила следующий номер, и на сцену вышел мужчина с зонтиком. Публика тут же переключилась на него. Патрик начал пятиться к самодельному занавесу, опустив от смущения глаза. Когда же он снова их поднял, женщины на сцене не было.

За кулисами он будет чужим. Он все еще ощущал прикосновение ее руки к плечу. И слышал голос, который он узнал. Он попытался вспомнить ее усталое лицо без грима. За занавесом в полумраке — одна керосиновая лампа на полу — стояло несколько артистов. Как ему войти в комнату, где великан снимает свою голову, а карлик снова становится высоким? Жонглер-македонец, которого он полчаса назад видел на сцене, с азартом запихивал в чемоданчик тридцать неподатливых апельсинов. Никаких диванов, никакой игры, просто артисты, приводящие себя в порядок. Мужчина надевает носки. Кто-то читает «Рейсинг ньюс». В дальнем конце зала индеец осторожно вел марионетку к проходу, словно сопровождая больного. Патрик последовал за ним. Индеец свернул направо, в туннель Вентури, и исчез за занавесом. Здесь, среди приборов и изогнутых труб, воздух был

влажным. Из зала донесся взрыв аплодисментов. Когда индеец выходил, Патрик, схватив его за руку, спросил, где женщина, танцевавшая с куклами. Тот указал кивком за занавес и протянул электрический фонарик.

Патрик шел в полной темноте. Включив фонарик, он увидел болтавшиеся ноги. Луч света скользнул по парчовой одежде — там, на трубе, висел король. На трех потолочных трубах на нитях и вагах болтались марионетки. Янтарный луч фонарика выхватывал из темноты лица и руки, которые, казалось, принадлежат не куклам, а отдыхающим людям, — заседание теневого кабинета. Перед ним был королевский двор, безмолвный — на восточный манер. Всякий раз, когда звучал королевский гонг, придворные могольского принца Акбара должны были застыть на месте, чем бы они ни занимались. Такова была прихоть монарха. А он тем временем расхаживал меж слуг и подданных, изучая, как они одеты и чем занимаются. Тот, кто осмеливался пошевелиться, бывал наказан. Принц заглядывал на кухни, в арсеналы, в спальни, где любовники замерли в объятьях, проходил мимо обеденных столов, за которыми сидели, глядя на остывшую еду, голодные или скучающие придворные, на-

ведывался в покои сокольничих, где двигались только чистившие перья птицы.

Патрик шел вперед, свет фонарика выхватывал из темноты разноцветные фрагменты, превращая комнату в волшебную пещеру. Театральный реквизит претерпевал череду превращений. Патрику захотелось расстегнуть на кукле блузу, снять башмак. Он быстро двинулся к какой-то фигуре, но оказалось, что это королева, прислоненная к спинке стула, сидевшая так, как и должны сидеть королевы. Из зала вновь донеслись аплодисменты.

Патрик выключил фонарик и замер. Его глаза еще помнили алый цвет, пышность голубого рукава, плоские коричневые ступни, торчащие из-под роскошного одеяния, словно ноги павлина. Повисшую, как сломанная, смуглую руку. Послышался плеск воды. Патрик обернулся на шум.

И пошел вперед, вытянув перед собой руку, готовую отодвинуть костюмированные тела, и высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться в темноте. Я двигаюсь, как марионетка, подумал он. И вдруг коснулся чьей-то руки, не сразу осознав, что она принадлежит человеку. Непонятно откуда взявшаяся рука схватила его за запястье. «Здравствуй, Патрик». Он включил фонарик.

Она ждала света. Она как хорошая актриса была готова предстать перед ним.

— Сюда никто не заходит, пока я умываюсь.

Она умывалась над тазом в трикотажной майке. Ее руки, выжав кусок ткани, вытерли лицо, оставив на нем полосы грима. Из-за полоски у рта казалось, что она сердится. За ее спиной медленно вращалась в воздухе марионетка. В воздухе пахло свечой, которую она, вероятно, задула, услышав его шаги.

— Помоги мне снять грим с шеи.

Патрик молчал. Луч фонарика двинулся от ее плеча к тазу, высветил руку, которая намочила тряпку, отжала и протянула ему. Взяв тряпку правой рукой, он принялся вытирать ей шею. Снял коричневый грим, повернул ее лицом к себе и начал медленно вытирать алую полоску у рта, держа фонарик рядом со щекой.

Он снова сполоснул тряпку и, обернув тканью палец, осторожно придерживая женщину за лоб, стер мишени с ее глаз. Голубая радужка левого глаза подергивалась от того, что его рука была со-

всем рядом… Перед ним была не просто Элис Галл, а кто-то очень близкий — чтобы кончик пальца мог снять толстый ярко-желтый слой краски, глазная мышца должна была ему довериться.

Прошло уже несколько ночных часов. В ее комнате на Веррал-авеню. Он только что увидел спавшую девочку.

— Я не была замужем, — сказала Элис. — Ее отец погиб. Он был четником. Ты знаешь, кто они?

Он покачал головой, продолжая глядеть в окно на дождь. В ее крохотных комнатках он не чувствовал тесноты, только если смотрел в окно.

— Открой окно, Патрик. В дождь кошка может захотеть вернуться. Это партизаны. Политические активисты. Борцы за свободу в Болгарии и Турции. Их жестоко преследовали, и некоторые из них приехали сюда. У них очень развито чувство справедливости.

Она улыбнулась.

— С ними очень трудно жить.

— Наверно, у меня пассивное отношение к справедливости.

— Я заметила. Тебя легко укротить, Патрик, как воду. Это опасно.

— Не думаю. Я не верю в язык политики, но стану защищать своих друзей. За это я отвечаю.

Она уселась на постели, глядя на него. На коленях у нее мурлыкала кошка, которую она вытирала полотенцем.

— Этого мало, Патрик. Вокруг нас бушует гроза.

— Это цитата из твоих брошюр?

— Нет, это метафора. Путь к сердцу людей лежит через метафору. Так я пробилась к твоему сердцу во время спектакля.

— Ты затронула во мне чувство сострадания.

— Сострадание слишком много прощает. Ты способен простить худшего из людей. Ты простишь его, и все останется как прежде.

— Можно его научить, объяснить ему…

— Зачем оставлять власть в его руках?

Патрик промолчал. Он отвернулся от нее к открытому окну и дождю.

— Ты веришь в одиночество, Патрик. В уход от общества. Ты можешь быть романтичным, потому что независим.

— Да, у меня десять баксов на счете.

— Я говорю не о деньгах. Я знаю, работать в туннеле ужасно. Но у тебя есть выбор, а что делать тем, у кого его нет?

— Например?

— Например, этой девочке. И трем четвертям населения Северной Америки. Они не могут позволить себе твой выбор, твою *пассивность.*

— Они могут добиться успеха. Посмотри на…

— Брось, Патрик… конечно, некоторым это удается. И они становятся такими же, как те, кого они стремятся обойти. Как Эмброуз. Посмотри, во что он превратился, перед тем как исчезнуть. Он стал хищником. Он никого к себе не подпускал, даже Клару. Ты мне всегда нравился, потому что ты это понимал. Ненавидел эту его черту.

— Я ненавидел его, потому что хотел иметь то, что принадлежало ему.

— Не думаю. Ты не хотел власти. Ты рожден быть младшим братом.

Она встала с постели и принялась расхаживать по комнате. Ей нужно было размахивать руками, чтобы чувствовать себя сильной.

— Сейчас нам нет дела до Эмброуза. Черт с ним, с этим мерзавцем.

Но сила отца ее ребенка еще бурлила в ней. Патрик не мог сказать, насколько ее поведение наиграно. Теперь она медленно говорила:

— В моем стремлении к правде больше сострадания, чем в твоей «идее» сострадания. Ты должен определить, кто твой враг.

— А если это друг?

— Я твой друг. Спящая здесь Хана твой друг. Люди, которые сидели в зале, твои друзья. Им тоже знакомо чувство сострадания. Послушай, они ужасно сентиментальны. Они любят твою чертову игуану. Рыдают на свадьбе у сестры. Они плачут,

когда сестра им говорит, что в первый раз поцеловалась. Но им приходится убивать скот на бойне. И запах дубильных фабрик навечно въелся в их ноздри и легкие. Он никогда не выветрится из их тел. Тебе знаком этот запах? Могу поспорить, богачам он неведом. От него звереешь. Это как спать с врагом. Этот запах пристал к отцу Ханы. У тех, кто там работает, ожоги на коже от гальванизации. Артрит, ревматизм.

В этом правда.

— И что же делать?

— Определить врага и уничтожить его власть. Начать с предметов роскоши — с их клубов для избранных, с летних особняков.

Элис остановилась и, положив руку на низкий скошенный потолок, оперлась на него.

— Это великое дело, Патрик.

Он знает, что никогда не забудет ни одного ее слова или движения в этой крошечной комнатке сегодня ночью. Он сидит на кровати, глядя на ее воодушевление.

— Кто-нибудь из зала всегда приходит, чтобы меня остановить. На этот раз это был ты, Патрик. Мой старый друг.

— Не думаю, что ты сможешь меня обратить.

— Нет, смогу.

— Если бы ради вашего дела мне пришлось кого-нибудь убить, ты захотела бы этого?

Она снова взяла кошку.

— А отец девочки?

— Не думаю, что я вправе требовать от человека, чтобы он причинил кому-то вред.

Они выбрались на площадку пожарной лестницы, Элис держала на руках спящую дочь, после грозы дышалось свободно и легко. Элис с улыбкой смотрела на девочку. Он почувствовал, что перед ним другой человек.

— Хане девять. Она слишком рано повзрослела, и это грустно.

— У вас впереди еще много времени.

— Нет. Я чувствую, она дана мне на

время. Плоть — это только оболочка. Не больше.

Они смотрели на низкие дома Куин-стрит, в ту летнюю ночь металл пожарной лестницы был мокрым и холодным на ощупь. Запахи улицы, освобожденные дождем, поднимались наверх. Патрик лежал на площадке на спине, как ребенок, дождевые капли бились о рубашку, как удары сердца.

— *Я не знаю,* — прошептала она рядом с ним.

Он потянулся к ней, и она положила на него свою ладонь. Сквозь решетку пожарной лестницы небо казалось нанесенным на карту. На верхних и нижних этажах на шаткое сооружение вышло несколько соседей, смеясь от удовольствия в прохладном воздухе. Время от времени они приветливо махали Элис и ее приятелю. Патрик неожиданно понял, что у него появилась роль.

Перед ними на конце длинной веревки раскачивалась бутылка фруктовой водки. Элис поймала ее и втянула на площадку. «За нетерпение», — провозгласила она. Отпив немного, она

передала бутылку Патрику, а затем, придерживая веревку, спустила водку этажом ниже. Так бутылка переходила из рук в руки.

На юге светились огни мукомольной фабрики Виктория. Македонцы, не любившие капель дождя на волосах, попросили своих жен передать им через окошко шляпы и почувствовали себя более уверенно. Они видели мужчину Элис, который работал в туннеле. Они сидели со своими семьями, глядя на озеро. Перед ними была Северная Америка, новый мир. Ландшафт почти не изменился, но он приносил покой, менял характер так же постепенно, как вода обтесывает камни. Патрик снова улегся рядом с Элис и маленькой Ханой.

— Сядь, — попросила она немного спустя. — Ты увидишь что-то очень красивое.

Внизу под ними вспыхнул прямоугольник света. За ним еще один. Рабочие вставали, чтобы идти в ночную смену. Можно было видеть, как они в серых брюках и нижних рубахах умывались над раковиной в кухне. Вскоре в их квартале здесь и там засияли пятна света, тогда как весь город спал. Захлопали двери. Улица заполнилась

фигурами людей, македонцы и греки отправлялись на скотобойни, сортировочные станции и в пекарни.

— Им не нужна твоя революция, — сказал Патрик Элис.

— Ты прав. Они не станут в ней участвовать. А ты станешь. Ты человек без роду без племени, как я. Не такой, как моя дочь. Ты такой, как я.

— И чего же ты хочешь?

— Только бури.

* * *

Когда он ушел, Элис с Ханой остались лежать на площадке пожарной лестницы, прижавшись друг к другу. Он тихо, словно вор, закрыл за собой дверь.

Ему нужно было вернуться в свою комнату, вынести одежду на улицу, выколотить из нее затвердевшую грязь и отправиться на работу. Было около пяти утра, голова и тело гудели, переполненные неестественной энергией. Он знал, что вскоре не сможет поднять рук над головой, будет шататься под весом кирки. Но сейчас рассвет и солнце разбудили его кровь.

Он вспомнил, как Клара в гостинице в Парисе рассказывала о том, что было с Элис после смерти отца ее ребенка. «Тогда Хана еще не родилась. Но Катон погиб, и, по-моему, она сошла с ума, погрузилась в какое-то особое одиночество. Его убили на севере, когда она была беременна».

В «Томпсон грилл» из радиоприемника на стойке уже неслись песни о любви, о женщинах, позволявших своим мужчинам незаметно просачиваться у них между пальцами, как вода. Официантка с татуировкой подала ему кофе. Этим утром музыка перенесла его на много лет назад. Ему вновь было восемнадцать, и во время своего первого танца он упал в объятья девушки, хмельной и испуганный. Нарисованная луна на потолке, свет, льющийся на танцующие пары сквозь плотный экран, преображал их. Он ступил, хмельной и дерзкий, на паркет и, увидев перед собой растерянные глаза девушки, которые не мог защитить слой краски, вдруг тоже растерялся. Хамелеон среди женских душ.

— Что ты думаешь о моей подруге?
— Она мне нравится.
— Она великая актриса.
— Лучше тебя?

— В тысячу раз, Патрик.
— Да, она мне нравится.

Он перебирает в уме старые разговоры. Подобно оазису, прошлое проплывает перед ним, и он наблюдает себя внутри его. Глаза девушки той ночью, когда ему было восемнадцать, были словно туннели в доброту, вожделение и решимость, он любил их так же сильно, как ее белый живот и лицо цвета охры. В них он увидел нечто, чего был не в силах постичь, как и внезапного исчезновения Клары или появления Элис в череде масок и разрисованных лиц. Обе эти женщины казались ему морем за спинами стоявших на берегу мужчин.

~~~

Дни проходили как во сне.

Он был возбужден и полон Элис Галл. Когда туннель под озером был построен, Патрик начал работать на кожевенной фабрике Уикета и Крейга. В этом новом, сухом мире его плоть обрела крепость, влажная скованность исчезла.

Весь день, нарезая кожу на кожевенной фабрике на Сайпресс-стрит, он думал об Элис. Найти
~~~

работу было по-прежнему трудно, и он получил место только благодаря ее друзьям. Патрик толкал плечом фиксатор, рулон разматывался, и он принимался резать изогнутым ножом коричневые шкуры на ровные полосы. Закончив свою часть работы, он стоял, тяжело дыша в холодном воздухе, пока не подходил его напарник. Патрик уже не чувствовал идущего из красилен запаха. Этот смрад оскорблял его тело лишь во время дождя.

Он был одним из трех главных раскройщиков кожи. Их ножи взлетали, подчиняясь движениям рук, они работали босиком, словно бродили по мутной реке, нарезая ее на протоки. Работа требовала безупречного владения телом. Элис чувствовала идущий от него запах кожи, хотя после смены он мылся во внутреннем дворе, — на них, стоящих в ряд на каменном полу, обрушивалась короткая струя воды и пара. Им полагалось всего по десять секунд воды. Красильщикам причиталось больше, но запах от них исходил ужасный и не исчезал никогда.

Кожи красили во внутренних дворах около склада. В круглые резервуары, вырезанные в камне, с красной, желтой и зеленой жидкостью погружались до пояса мужчины со шкурами

недавно убитых животных. Переминаясь с ноги на ногу, они опускали и поднимали шкуры в круглых, по четыре фута шириной колодцах, чтобы краска глубоко проникла в поры животных, которые еще вчера были живы. Люди выходили оттуда по шею в краске, волоча за собой мокрые шкуры, — казалось, они содрали кожу с собственных тел. В колодцы с разной краской входили, словно в разные страны.

Красильщики, представители разных национальностей, стояли рядом и хотели одного: курить. Стоять пять свободных минут в зеленой краске, беседовать с человеком в желтой и *курить*. Набраться свежих сил от дыма, втянув его поглубже в легкие, задержать там и выдохнуть, чтобы вытравить едкую субстанцию, впитавшуюся в их тела, в каждый уголок их плоти. Чтобы их очистить, хватит одной сигареты, луча звезды, пронизывающего тело.

Так Патрик будет вспоминать их позже. Их разноцветные тела с белыми головами. Будь он художником, он изобразил бы их на холсте, но это прославление было бы лживым. Что в конечном счете означало это живописное зрелище в октябрьский день, на восточном конце города, в пятистах ярдах от Франт-стрит? Что этим людям

— в основном македонцам, хотя между ними попадались поляки и литовцы, — от двадцати до тридцати пяти лет. Что в среднем они знают три-четыре фразы по-английски, что они никогда не читают «Мейл энд эмпайр» или «Сатердей найт». Что днем они едят стоя. Что в них въелся самый отвратительный запах в мире, запах мертвой плоти, гнездящийся в пустоте между мясом и кожей, и даже если они больше никогда не войдут в эти ямы, этот запах будет исходить от них еще целый год. Что они умрут от чахотки, но пока не знают об этом. Что зимой между разноцветными колодцами ложится тонкий слой снега и этот живописный двор становится еще красивее. Что в мороз полуголые люди точно так же погружаются в резервуары с краской, а выйдя оттуда, стоят и ждут, накрывшись мешковиной.

Единственным преимуществом зимы было отсутствие запаха. Тогда красильщикам не хотелось курить, они и без того едва дышали. Они стояли, и от мешковины поднимался пар. Когда же пар исчезал, они понимали, что продрогли и что пора опять лезть в яму. Но в октябре, когда Патрик наблюдал за ними в перерыв из кожевенного цеха, им хотелось курить. Об этом нечего было и думать — раствор, в который погружа-

лись красильщики, был настолько едким, что при малейшем соприкосновении с огнем они воспламенились бы, как спички.

Зеленый человек в огне.

Они были красильщиками. И получали по доллару в день. На этой работе никто не выдерживал больше полугода, за нее брались только те, кто отчаялся. На фабрике можно было работать, к примеру, водовозом или свежевальщиком. На открытых галереях делали колбасу или удобрения. Люди стояли по щиколотку в соли, набивая кишки, выдавливая из внутренностей животных экскременты и прочие выделения. Дальше располагались бойни, где ходили среди ревущих животных, оглушая их кувалдой, — когда с коров сдирали кожу, мертвые глаза еще моргали. Там всегда было душно, и крупная соль, как и кислота в красильне, незаметно действуя, вызывала туберкулез, артрит и ревматизм. Все эти люди приходили на работу ранним утром, до рассвета, а уходили в шесть вечера. Агент по найму давал им английские имена: Чарли Джонсон, Ник Паркер. Они заучивали непривычно звучавшие чужеземные слоги, как номера.

Момент торжества наступал для красильщиков в конце дня в душевой. Они стояли под горячей

струей, две-три минуты не меняя цвета, — казалось, что они, подобно актрисе, неспособной вернуться в реальный мир после сыгранной роли, навсегда заключены в свой яркий цвет, не считая головы. Но внезапно синий цвет бледнел, соскальзывал вниз и падал к их ногам, а они выступали из него со сладострастным чувством освобождения.

Но на коже красильщиков оставался запах, не позволявший женщинам прильнуть в постели к своим мужьям. Элис, лежа рядом с утомленным Патриком, пробовала языком на вкус кожу у него на шее и думала о том, что жены красильщиков никогда не смогут ощутить вкус и запах своих мужей: даже если те смоют с себя весь пигмент и крупные кристаллы соли, на них по-прежнему останется запах ангела, с которым они боролись в колодце, в яме. Кроваво-красного цвета.

«Я расскажу тебе о богачах, — говорила Элис. — Богачи постоянно смеются. Они все время повторяют у себя на яхтах и лужайках: „Это восхитительно! Мы прекрасно провели время!“ А когда они напьются и расчувствуются, то часами рассуждают о гуманности. Но вас они держат в туннелях и на бойнях. Они не занимаются тяжелым трудом и не лезут вон из кожи. Запомни

это… пойми, они никогда не позволят тебе выбиться из нищеты. Ты должен знать это, Патрик, прежде чем к ним приблизиться, — собака, перед тем как схватиться с коровами, вываливается в их дерьме».

У Косты он отдыхает, пока Элис беседует с друзьями, переходя с английского на финский или македонский. Ее не беспокоит, что Патрик не понимает языка, она знает, что он счастлив. В этом театре за обеденным столом она общается с полной отдачей, ее лицо оживляется, не то шрам, не то родинка в зависимости от содержания беседы то становится заметнее, то бледнеет. Ему доставляет удовольствие угадывать, о чем идет речь. Он улавливает только названия улиц, фамилию начальника полиции Дрейпера, протащившего закон, запрещающий иностранцам участвовать в митингах. За публичные выступления на любом языке, кроме английского, грозит тюремное заключение. Таково предписание городских властей. Многих уже арестовали на митингах в Хай-парке или во время прошлогодней стычки с полицейскими в аптеке Шапиро.

Он смотрит по очереди на ее друзей, на небольшую картину на стене: скромный пейзаж, деревушка, — память о Европе. Ему на редкость

хорошо в этой комнате. Он вспоминает, как его отец, повстречавшись с чужаками-лесорубами на дороге к Первому озеру, сказал: «Они не понимают, где находятся». Теперь же, в этом районе со сложным переплетением судеб и обычаев, Патрик улыбается про себя иронии полной перемены декораций. К нему подошла жена Косты, показала на одну из картин и назвала свою деревню, потом сладострастным жестом прижала обе руки к правому боку, объясняя Патрику, что подаст печенку.

Если бы только было возможно, чтобы нечто, записанное на бумаге, — идея, эмоция или музыкальная фраза, — мгновенно становилось достоянием современников автора. Не получившая признания в 1875 году «Кармен» многих сделала любителями оперы. И Верди под проливным дождем, верящий, что превращается в туман, — даже эта эмоция была пережита его современниками.

Патрик слушает, как Элис читает ему письма Джозефа Конрада — выписанные ею цитаты. Она как-то уже спросила его, кого из писателей он любит, и он упомянул Конрада. «Да, — говорит она и, услыхав детский плач, встает с места, — но ты читал его письма?» В соседней комнате она успо-

каивает маленькую Хану, которой приснился страшный сон. «Подожди, — продолжает она, — я тебе что-то покажу».

Она очень волнуется, как будто боится, что он встанет и уйдет прежде, чем она успеет поднести ему этот дар. Она тоже любит Конрада. Любит его театральный стиль. Есть писатели, которые нравятся актерам. Они не могут сочинить простой пьесы для театра, но в их книгах есть сцены, о которых актеры могут только мечтать. Таким писателем для Элис был Конрад.

— Слушай: «Праздный и эгоистичный класс любит смотреть, как творится зло, даже если оно творится за его счет».

— Ха, — смеется он.

— Он выражает недовольство по поводу взглядов тори на испанских повстанцев-либералов, обосновавшихся в Лондоне после тысяча восемьсот тридцатого года. «Разумеется, я не выступаю в защиту политических преступлений. Они мне отвратительны в силу традиции, чувства справедливости и даже доводов разума. Но некоторые из этих людей боролись за идею открыто, при свете дня и принесли

ей в жертву все, ради чего, по мнению большинства людей, стоит жить. Более того, огульные утверждения всегда ошибочны, поскольку люди бесконечно разнообразны, а резкие слова напрасны, потому что не могут победить идею. Следует бороться с идеями (которые живут), а не с людьми, которые умирают».

Это было письмо Конрада в газету. Патрик слушал своего современника.

— Как мне обратить тебя в свою веру? — спрашивала она в темноте спальни.

— Идеология плоха тем, Элис, что не терпит ничего личного. Вы должны ее сделать человечнее.

— Вот мои любимые строки. Я их прошепчу: «Я научил тебя тому, что небо, солнце и луна смертны… Позволь мне еще раз подчеркнуть крайнюю непрочность всех вещей».

В темноте он видит легкое свечение вокруг ее волос.

— Пожалуйста, повтори.

* * *

В субботу днем красильщики, раскройщики, свежевальщики, колбасники и забойщики скота — все, кто трудился на бойне и на кожевенной фабрике на Сайпресс-стрит, обретали свободу. Помывшись под струей воды, они шли по Батерст-стрит до Куин, человек тридцать или около того, почти ничего не зная друг о друге, кроме фальшивых имен и настоящих стран. *Эй, Италия!* Шли парами или тройками, у каждой был свой язык, как у красильщиков свой цвет. Выпив пива, они шагали дальше по Батерст к паровым баням «Дубовый лист». Каждый из них, заплатив четверть доллара, получал полотенце, простыню, висячий замок и полотняный мешок. Они раздевались, клали одежду и зарплату в мешок, запирали шкафчик на замок и вешали ключ себе на шею. У всех поднималось настроение. *Эй, Канада!* Кто-то машет Патрику рукой. Суббота.

Они сидят нагишом в наполненных паром комнатах с побеленными стенами, оттирают щеткой коросту, рассматривают шрам на плече. Какой-то человек, с которым он никогда не говорил, встречается с ним взглядом, но оба так устали, что отвести глаза нет сил, так они и сидят, тупо уста-

вившись друг на друга. Он ничего не знает об этих людях, кроме того, как они смеются и двигаются — вне языка. Он сам скрывал свое настоящее имя и голос от начальников на кожевенной фабрике, никогда не заговаривал с ними и никогда не отвечал. Кто-то потянул за цепочку, и в помещение ворвался мокрый пар, их тела разъединил белый туман, поднимавшийся сквозь решетчатый пол, татуировки и крепкие мышцы поблекли, как на непроявленной фотографии. Они зашевелились, встали, кто-то запел.

Влажный жар заставил вспомнить об усталости, но под холодным душем последнее напряжение упало к ногам Патрика. Оставшийся час они лежали на зеленых скамьях, по радио на подоконнике транслировали дневную субботнюю оперу, надпись на трех языках запрещала менять волну.

Он лежал на скамье, не нуждаясь в переводе, позволяя музыке изливаться на него. Скоро его рука превратится в руку, которую целовала Элис. Они все, освободившись от недельной работы, позволили себе расслабиться, погрузиться в незамутненный мир страсти. Музыка «Богемы», смерть Мими парили над их беззащитными телами, на шее у каждого висел на веревочке ключ.

* * *

А потом в дверях ее рука касалась его сердца, чувствуя через ребра, что он устал. Крохотная комнатушка, где он в три шага оказывался у окна. Там жили Патрик, Элис и Хана. Если было тепло, они ели на пожарной лестнице. А если Элис работала, они с Ханой шли в балканское кафе, с официантами в длинных фартуках и плетеными стульями. Они заказывали *боп* и *мусаку.* Хана звонким голосом, четко выговаривая звуки, объясняла ему значение этих слов. *Боп* — это фасоль. А *мусака* — тушеное мясо с овощами. Пока он смотрел на Хану, в ее лице то проступало, то исчезало сходство с Элис, как будто два стеклянных негатива накладывались один на другой, а потом разъединялись. Дочь напоминала мать скорее манерами, чем чертами.

Он чувствовал себя легко рядом с Ханой, ему нравилась ее собранность, серьезность, с какой она держалась с чужими людьми. Девочка с таким голосом точно знала, чего хочет и что может получить. На улице ему хотелось взять Хану на руки и обнять, он не решался, хотя в играх или в переполненном трамвае она брала его за руку, словно нуждалась в его тепле и внимании. Как

и он.

Его близость с Элис имела пределы. Она отказывалась говорить о прошлом. Даже в ее рассказах об отце Ханы, довольно путаных, не содержалось ни малейших сведений о ней самой. Она никогда не становилась центром собственных мифов. С ходу отвергала любой комплимент. Обычно она сидела за завтраком бледная и раздетая, разрезая любой имевшийся у них фрукт на три части или склонившись над яичницей, и как-то он шепнул ей, что она красивая. «На фоне яиц я неотразима», — отпарировала она с набитым ртом. Но не оделась. Она рассчитывала вернуться в постель, как только Патрик уйдет на кожевенную фабрику, а Хана в школу. Элис работала по вечерам.

Его отношения с Ханой были более определенными. В ней неизменно ощущалась осмотрительность. Словно она когда-то сильно обожглась, а теперь дула на воду. У них случались небольшие стычки, споры, но в конечном счете все улаживалось. Она не позволяла собой командовать и была независима. Не ожидала снисхождения.

Они сидели с Ханой за круглым столом в балканском кафе и ели сытный ужин с мороженым, который следовало закончить к десяти часам, чтобы заехать за Элис в театр «Попугай». Они

никуда не торопились, и Хана переводила ему на английский новости, услышанные от мясника, который некоторое время шел рядом с ними, неся под мышкой свиную голову. Патрик видел обращенные к нему жесты. Теперь они знали, кто он такой. Медленно приподнятая шляпа у мужчин, кивок, направленный к его левому плечу, у женщин.

Он жил в молчании — на работе и во время вечерних прогулок, — хотя вокруг него звучали шум и разговоры. Чтобы его поняли, ему пришлось бы лезть из кожи вон. Местный дурачок. Жертва удара. «Падерик», — называли его владельцы лавок, когда он протягивал им деньги и список покупок, составленный Ханой по-македонски, и безропотно брал то, что ему давали. Он чувствовал, что становится наивным. Все истинное, что он узнал о человеческом характере, он узнал в ту пору жизни. Как-то раз, когда они смотрели в кинотеатре «Тек» — фильм с Чарли Чанлином, он услыхал свой громкий смех, слившийся со смехом зала. И поймал на себе чей-то взгляд: этот человек, подавшийся вперед, чтобы его увидеть, тоже догадался, что общий смех — разновидность речи.

Ему всегда было легко в чужом пейзаже, нрави-

лось изучать обычаи новой местности. Патрику хотелось узнать город, который Хана выстроила для себя, — места, которые она собирала и хранила как бы нанизанными на тонкую нить ее любопытства: торговая компания «Ху», где Элис покупала травы от простуды, освещенные газовыми лампами закусочные с выступающими, похожими на аквариум окнами. Они смотрели шоу русалок в парке Саннисайд, выступление итальянских гимнастов в спортзале на Элм-стрит, слушали групповые уроки английского в районном центре — голос на безукоризненном английском сообщал: «Меня зовут Эрнест», и мужские голоса повторяли хором, что их зовут Эрнест.

Но самым любимым местом Ханы была пекарня «Герань», и в один субботний день она привела его туда, чтобы познакомить со своим другом Николасом. Она провела Патрика между пекарями, мешками с мукой и цилиндрами для раскатки теста к Николасу Темелкову, который повернулся к ней и широко раскинул руки. В шутку — Николас был в муке и не рассчитывал на объятия. Пожав Патрику руку, он стал водить их по пекарне, а Хана отщипывала кусочки сырого теста и отправляла в рот. Темелков, в аккуратном

пиджаке и галстуке, был без фартука, и, пока он ходил по пекарне, на него оседала мучная пыль. Он потянул за свисавшие с потолка цепи, приводя в движение цилиндры, вынул из кармана маленькую куклу и вручил ее Хане, на этот раз она обняла его, прижавшись головой к груди. К тому времени как Патрик покинул пекарню вместе с Ханой, мужчины обменялись не более чем тремя-четырьмя вежливыми фразами.

Однажды вечером Хана, вытащив из-под кровати чемодан, показала ему несколько памятных вещиц. Свою фотографию в младенческом возрасте, с нацарапанным на ней карандашом детским прозвищем — Пико. И еще три фотографии: группа мужчин, работавших на виадуке на Блор-стрит, Элис в спектакле в Финском рабочем храме и трое лесорубов в снегу. Сумаховый браслет. Четки. Эти разложенные на кровати предметы заменяли ей отсутствующего отца.

Так он узнал о Катоне от его дочери. Девочка знала о нем все: о его обаянии, его жестокости, его эгоизме, его отваге, о том, как он встретил и обольстил Элис. «Ты ведь не знал Катона, верно?» — «Нет». — «Что ж, говорят, он был очень вспыльчив, очень жесток». — «Не говори так, Хана, тебе десять лет, а он твой отец». — «О, я люблю его,

хотя ни разу не видела. Просто это правда».

Всегда практичная Хана была полной противоположностью Патрику. Когда он в первую субботу пришел из бани, она спросила, сколько стоит билет, и он увидел, что она пытается прикинуть, стоит ли удовольствие потраченных денег. «На это никаких денег не жалко», — пробормотал он и увидел, что она не может понять или принять подобную экстравагантность. Она сочла его глупцом. И нарисованный ею портрет отца тоже был начисто лишен сентиментальности.

— Кто эти люди на строительстве моста, Хана?

— О, должно быть, кто-то из маминых знакомых.

* * *

Элис, заслонив ладонью глаза от солнца, стояла в солнечном свете на травянистом склоне холма, спускавшегося от водоочистной станции к озеру.

— Мне пришлось научиться тому, что на него не сто*и*т полагаться. Да он никогда и не хотел этого. Ты должен знать, что Катон не настоящее имя, а подпольная

кличка. Кто знает, с кем он был или что делал в среду или в пятницу? Он всего добился сам. Он тяжело работал и говорил то, что думал. В четверг он приезжал на своем сверкающем велосипеде, бросал свое снаряжение в холле, словно рыбак снасти, и говорил: «Поехали!»

— Долго вы были вместе?

— До его смерти. Мы то и дело расставались. Он считал, что его жизнь слишком трудна. Половину времени мы беспокоились друг о друге. И в среду вечером я мечтала о завтрашнем дне, как мы поедем на велосипедах но дороге, в апрельское половодье или летнюю пыль. Патрик, я с завязанными глазами могу привести тебя туда: пятьдесят шагов от дороги, перейти ручей — там очень грязно, — повернуть направо — там у нас всегда промокали ноги, — когда я прыгала через ручей, смола с невысокой сосны оставалась у меня на волосах. Камыш и папоротники по плечо, потом шатер из кедров. Ручей лепечет среди кедровых ветвей! Под ногами толстый ковер из хвои! Когда мы занимались там любовью, Катон всегда что-нибудь

закапывал: маленькую бутылку, карандаш, носовой платок, носок. Он оставлял что-нибудь везде, где мы любили друг друга. Такая сексуальная археология. Там было дерево, напоминавшее очертаниями крышу собачьей конуры. Если нам случалось заблудиться, мы всегда старались его найти — когда снег менял очертания деревьев, или осень обнажала стволы, или летом, когда все зарастало и превращалось в хаос. Мы приходили туда круглый год, в любое время года, зимой там почему-то было лучше, чем летом, когда нас донимали жуки и оленьи мухи. Мы рыли пещеры в снегу, нас защищали от ветра деревья. Важно находиться близко к поверхности земли… По-моему, ему стало нравиться, что мы не занимаемся любовью дома. Тем не менее мы постоянно ссорились. Как-то раз я сказала ему, что, если он когда-нибудь надумает со мной порвать и скажет, что пора кончать это безумство, я его зарежу.

— Ты мне это тоже говорила.

— Мне почему-то кажется, Патрик, что я знала его так же хорошо, как тебя.

— Я ревную. Нет, не ревную.

— Потому что он мертв? Ты слушаешь меня так спокойно, все эти интимные подробности…

— Хана показала мне фотографии. Кто эти люди на мосту?

— Это все в прошлом, Патрик, не будем его ворошить. Но ты должен попросить Хану рассказать тебе о Катоне и носках. Это ее любимая история.

«Они были в лесу и вышли в поле, чтобы удрать от насекомых. Было лето. Тучи насекомых, сказала мама. Поэтому они разделись и пошли искупаться в реке. Когда они вернулись, рядом с их одеждой стояли молодые бычки. Штук пять, вокруг их вещей. Но их привлекали только носки! Они обнюхивали их и бодали. Катон ужасно смутился. Мама сказала, что он не хотел никому об этом рассказывать. Мне ужасно нравится эта история — все эти бычки с глубокомысленным видом бодают его носки. Мама думает, они их возбудили».

~~~

В кармане Патрика лежала фотография из чемодана Ханы. Даже глотая романы в детстве, Патрик никогда не верил, что их герои живут лишь на страницах произведений. Когда за ними не присматривал автор, они вели себя как хотели. За рамками сюжета все было покрыто мраком, но в жизни, разумеется, присутствовала ясность. Каждый из героев жил в определенном часовом поясе, под своими звездами, в противном случае они были бы людьми из ниоткуда.

Он пришел в ривердейлскую библиотеку в поисках сведений о строительстве виадука на Блор-стрит. Взяв необходимые газеты и журналы, он прошел в детский зал, с высокими стропилами и освинцованными окнами, впускавшими море света. Он наслаждался запахом книг, маленькими столиками. Ему пришло в голову, что так должна выглядеть столовая на подводной лодке.

Он прочел заметки об открытии моста 18 октября 1918 года. В одной из газет была фотография велосипедиста, пересекшего мост. Патрик углубился в прошлое. На возведение моста ушло всего два года. Переговоры о строительстве велись
~~~

несколько лет, и наконец проект был утвержден благодаря решимости главного распорядителя работ Харриса. Патрик просмотрел фотографии: деревянные каркасы, куда заливался бетон; опоры моста, обнажившиеся после того, как деревянную обшивку сняли, словно затвердевшие бинты. Он прочел обо всем: о геодезических изысканиях, скандалах, вскользь упомянутых случаях гибели рабочих, прочел об упавшей с моста молодой монахине, чье тело так и не нашли. Прочел о вышедшей из берегов реке Дон, о ледовой опасности, о решении ввести ночную смену и последовавших за этим ночных смертях. Прочел статью о смельчаках. Прозвенел библиотечный колокольчик. Перевернув страницу, Патрик увидел групповую фотографию. Он вынул из кармана свою и положил рядом с ней. Третьим слева, говорилось в газете, стоял Николас Темелков.

Покинув библиотеку, Патрик перешел Бродвью-авеню и двинулся на восток. Внезапно он остановился, ему захотелось повернуть назад, но библиотека уже закрылась, к тому же он не видел в этом смысла. В газетах не было фотографии монахини. Исчезнувшей или погибшей.

Патрик зашагал вперед. Приближаясь к уличному оркестру, он невольно замедлил шаг, при-

норавливаясь к ритму наплывавшей мелодии. Попеременно солировавшие корнет, саксофон и барабан, как только Патрик поравнялся с ними, на мгновение стихли и громко грянули все вместе.

Перед его глазами проплывало множество историй: теперь он знал о Катоне, возлюбленном Элис, о Хане, блуждавшей по миру пекарни. Он шел дальше, звук уличного оркестра становился все глуше, звук его шагов вновь перемежался тишиной, теперь он знал, что музыка может зазвучать, если он просто напоет про себя нить мелодии. Он видел взаимодействия, видел, как каждого из них несло нечто такое, что было сильнее их самих.

Если монахиней была Элис…

Уличный оркестр воплощал собой идеальный ансамбль, завершивший свое выступление объятиями после того, как соло сделало каждого сильнее, четче очертив его характер. Собственная жизнь теперь казалась Патрику не отдельно взятой историей, а частью фрески, сочетавшейся с другими частями. Патрик видел перед собой чудесное ночное небо, сплетение судеб: эпизоды жизни самых разных людей, нечто не подвластное ни семье, в которой он родился, ни злобе

дня. Монахиня на мосту, смельчак, неспособный уснуть без спиртного, мальчик, наблюдающий из спальни за ночными огнями, актриса, сбежавшая с миллионером, — хаотичные обломки эпохи складывались в общую картину.

* * *

В статьях и иллюстрациях, найденных Патриком в ривердейлской библиотеке, содержались многочисленные подробности о грунте, пиломатериалах, весе бетона и так далее, не было там только одного — информации о тех, кто на самом деле построил этот мост. В Канаде не было фотографов, подобных американцу Льюису Хайну, запечатлевшему детский труд: мальчишки в угольных шахтах, семилетние ткачихи на фабриках Новой Англии. *Изобличить зло и обнаружить скрытую чистоту.* Официальные сообщения и новости всегда были пресными, как любая риторика, например статья политика, произнесшего речь на открытии моста, человека, который сам ни разу не подстриг траву на своем газоне. Фотографии Хайна, разоблачая официальную историю, создают иную общность. Человек с отбойным молотком в облаке каменной пыли на Эмпайр-стейт-билдинг, чета арендаторов,

мальчишки-отбойщики в шахте. Его фотографии — как комнаты, куда вы можете войти: пещеристые здания, где рабочий поворачивает гаечный ключ величиной с человека, или железные пещеры, где трудятся бледные, как привидения, дети. Но Патрик никогда не видел великих фотографий Хайна и никогда не читал писем Джозефа Конрада. Нас ежедневно окружают официальная история и новости, произведения искусства доходят до нас слишком поздно, неторопливо путешествуя по свету, как послание в бутылке.

Только совершенное искусство способно упорядочить хаотичное нагромождение событий. Только то, что совершенно, способно перестроить хаос, чтобы предложить и хаос и порядок, которым он в будущем станет.

Не прошло и двух лет после сражения 1066-го,[4] как начали ткать ковер из Байё, а Константин Африканский открыл западному миру греческую медицину. Хаотичное нагромождение событий. Первым предложением любого романа должно быть: «Доверься мне, это потребует времени, но здесь есть порядок, очень хрупкий, очень человеческий». Блуждай без цели, если хочешь

---

[4] Примечания: 4
Имеется в виду битва при Гастингсе.

добраться до города.

* * *

Я научил тебя тому, что небо, солнце и луна смертны.

Ее любимая фраза парит над Патриком, когда он просыпается. К рассвету он уже стоит на сером полу кожевенной фабрики, держа изогнутый нож. Весь день, раскраивая кожу, он перебирает в уме те немногие подробности ее жизни, которые она сообщила ему. Даже в сельском домике в Парис-Плейнс она ни словом не обмолвилась о своей молодости, даже в рассказах о Катоне она упомянула только его имя. А что, если Элис была монахиней? Четки, сумаховый браслет…

В шесть вечера он возвращается с работы, и она прижимает открытые ладони к его ребрам. Он поднимает Элис на руки, и Хана прыгает на спину матери. Они неуклюже движутся по крохотной комнатке и падают на кровать. Игра состоит в том, что Хана пытается столкнуть их на пол, упираясь ногами в стенку. Они падают с кровати, а Хана сверху прыгает на них. Потом они с Ханой пытаются втащить Элис на кровать.

Его всегда удивляло тело Элис. Она кажется хрупкой, словно ее могут задавить в толпе, но она

сильная и ловкая, она танцует так же хорошо, как играет на сцене, пластично передвигаясь по комнатам. Она считает джиттербаг самым важным изобретением двадцатого века и даже готова многое простить за него капитализму. Она обожает Фатса Уоллера. Патрик видел, как она сидела в балканском кафе за пианино и пела:

Мне не надо было звезд,
Не надо луны,
Я думал, они скучны…
Но вдруг на горизонте
Появилась ты,
Полна любви.

У Клары, скажет она позже, был класс, она играла на рояле так, как королева, ступающая по грязи. А я играю, как чувствую. И в музыке мне нравятся одни душещипательные романсы.

Но самое нежное признание в том, что ей не хватает Клары, она сделала, сидя у него на животе, смотря на него сверху вниз. «Я люблю Клару, — сказала она ему, любовнику Клары. — Я скучаю без нее. Она не дала мне сойти с ума. А это очень важно для того, чем я стала сейчас».

Элис двигалась, как… Она тихонько напевала,

как… Почему теперь я пытаюсь открыть для себя все грани ее натуры?

Он хочет, чтобы вся Элис без остатка была вместе с ним в этой комнате, как будто она не умерла. Как будто он наделен даром воссоздать те дни, когда Элис была здесь вместе с ним и Ханой, — в литературе это истинный дар. Он переворачивает страницу назад. И снова перед ним встает картина: в крохотной комнатке с зелеными стенами они тормошат и щекочут Элис, пока та не разожмет пальцы на горловине своей рубашки, позволив ей эффектно слететь, а Хана, подпрыгнув, принимается размахивать ею, как повстанческим флагом. Все эти обрывки воспоминаний… Мы можем отступить от главной фабулы и вдруг наткнуться на нечто драгоценное, на одно из подземных озер, на берегу которого мы сидим, замерев от счастья. К этим моментам, к этим нескольким страницам книги, мы возвращаемся вновь и вновь.

* * *

Пальцы Николаса Темелкова погружаются в ком теста, растягивают его, потом сжимают и швыряют на стол. Подняв глаза, он видит, как в пекарню «Герань» входит, смущенно огляды-

ваясь, Патрик и направляется к нему. Патрик вынимает фотографию и кладет перед Темелковым.

У них за спиной шкивы и ролики перемещают сотни буханок в печь и через некоторое время извлекают оттуда. Темелков в своем сером костюме, переполняясь радостью и изумлением, рассказывает Патрику о мосте и монахине — тот напомнил ему точную дату, стершуюся из памяти. Он долго стоит посреди пекарни, предаваясь размышлениям, не замечая, что давно подбрасывает в руке небольшой ком теста, забыв о Патрике, стоящем в шаге от него. Темелков где-то далеко отсюда, его глаза за стеклами очков кажутся большими, ком теста точно падает ему в ладонь, этой рукой он поймал ее воздухе и вернул к жизни. *«Говори, тебе нужно говорить»,* и как бы в насмешку она взяла себе имя попугая — *Элисия.*

Николас Темелков никогда не оглядывается назад. Когда он поедет в хлебном фургоне по мосту вместе с женой и детьми, он лишь вскользь упомянет, что работал здесь на стройке. Сейчас он гражданин этой страны, преуспевающий владелец пекарни. Его хлеб, булочки, печенье и пирожные едят множество людей. Он человек, привыкший находиться среди печей, чувство-

вать запах поднимающегося теста, наблюдать за его метаморфозами. Но сейчас он медлит, вспоминая в подробностях то, что случилось на мосту.

Он стоит на том же месте, где его оставил Патрик, размышляя, уподобляясь тем, кто верит: чтобы увидеть продолжение приятного сна, надо уснуть точно в такой же позе, что и в момент пробуждения, когда тело отделилось от видений. Николас осознает, что предается удовольствию воспоминаний. Этого с ним раньше не случалось. Вот что такое история. Когда он прибыл в эту страну, он был похож на горящий факел: на своем пути вперед он поглощал воздух и давал свет. В нем бурлила энергия. Тогда ему хватало времени на все. На язык, обычаи, семью и заработки. Дар, преподнесенный Патриком, — стрела, пущенная в прошлое, — показал ему его внутреннее богатство, то, как он вшит в ткань истории. Он замкнут, даже с близкими. Той ночью, в постели, он робко поведает жене историю монахини.

~~~

Катон всегда опаздывал, вспоминает Элис, но вот его велосипед наконец-то звякал у нее под окнами. Она усаживалась на раму, и они мчались
~~~

по извилистой дороге к озеру, раскинувшемуся, словно кринолин. Там они ложились у железнодорожной насыпи, в нескольких шагах от озера Онтарио. Зимой на деревьях намерзал лед, и Элис, запрокинув голову и обнажив белую шею, хватала обледенелую веточку ртом и откусывала, прижав языком.

Но в остальное время она была рада, что не живет вместе с ним постоянно, не испытывает притяжения его планеты. Если ты находился рядом с Катоном, ты должен был соответствовать его миру, его друзьям, его планам на неделю. Незнакомцы и старые подруги подбегали к нему на улице, обнимали и присоединялись к компании. Невозможно было проехать с ним пару кварталов на велосипеде, не столкнувшись с кем-то, кому срочно требовалось отыскать друга или перевезти шкаф. «Всего *один* день, — говорила она. — Хотя бы *четыре часа!*»

Так он стал для нее человеком, приходившим в четверг. Они с ним исчезали в оврагах, в лесах к северу от города или в ее любимом месте — у тяжелых камней железнодорожной насыпи, где над ними склонялась обледеневшая ива, они любили друг друга под звуки весеннего ледохода, целовались с камешками во рту. В марте у озера

было еще холодно, она лежала на животе, на его руке, и сотрясение товарного поезда, следующего в Апалачиколу, через его ладонь достигало ее груди.

Так четверг выпрыгивал из недели, раскрываясь, как складная кровать. Только у них никогда не было кровати. К тому времени как родилась Хана, Катон был уже мертв.

Патрик положил голову ей на живот, наблюдая за тем, как чуть-чуть приподнимается ее кожа при каждом биении сердца.

— Знаешь, он родился на севере, совсем близко от места, где погиб. — Она гладит его по груди. — Его отец приехал сюда из Финляндии рубить лес. Здесь его семье уже не нужно было кланяться священникам или сановникам, и вскоре они занялись профсоюзной деятельностью. Катон родился здесь. В ту ночь его отец поехал на коньках за доктором. Три мили через озеро с горящим факелом из камыша в руке.

Патрик остановил ее руку.

— Так значит, это были *финны.*
— Что?
— Финны. Когда я был маленьким…

Теперь, в тридцать лет, он наконец-то узнал, кто были люди, которых он видел в детстве.

Патрик улыбнулся, как будто раскрыл загадку, над которой долго бился, или выдернул занозу, не дававшую ему покоя. Луна в зеленой комнатке ярко освещала его лицо. Луна вернувшаяся из того времени, когда ему было одиннадцать. Он любил власть совпадений, удовольствие от странной общности событий. *Привет, Финляндия!*

— Войди в меня.

Кто она? Откуда? Выпрямив руки, он уперся ладонями ей в плечи, их тела не соприкасались выше пояса, лица порознь. Мозг и глаза оценивали удовольствие партнера, реакцию кожи, которую гладят и сжимают. Навалившись на ее ладони, прижатые к его животу, он проник глубже, затем отпрянул и затих. Полная неподвижность. Он чувствует, что в нем слиты все те, кем он был в жизни, начиная с маленького мальчика в заснеженных лесах… ее объятия ослабевают. Ногти вонзаются в спину. Его щека

прижата к бирюзовому глазу.

Он лежал в постели, глядя на свет луны сквозь решетку пожарной лестницы. Свет электрических часов, рекламирующих кабинетные сигары. В полуночном сумраке над озером темнеют изящные, плавные очертания мукомольной фабрики Виктория. В любое десятилетие, какое только пожелаешь.

— Боже, как я люблю твое лицо…

Она сотворила его из ничего. Эта женщина, со смехом прыгающая ему на грудь и тянущая на себя, как колесо.

Как может та, которая разорвала ему сердце своим искусством, теперь лежать, как обычная женщина, в его объятиях? Или замирать перед бананами на Истерн-авеню, прикидывая, какую гроздь купить. Придает ли ей это еще больше чарующей силы? Словно сказочная цапля в полете упала замертво к его ногам, и он становится свидетелем очередного чуда — ее строения. Кто может постичь соединение этих костей и перьев, определить вес черепа и клюва, наделить ее способностью летать?

Его любовь к театру была дилетантской. Он

собирал сплетни, сувениры, афиши. Он любил технологию игры, шел за кулисы и видел Офелию с наполовину стертым безумным лицом. В театре была человечность. Скажем, старый актер, которому особо удавались роли эксцентричных судей, ехал на трамвае в восточную часть города, съедал в одиночестве свой ужин и укладывался в постель рядом со спящей женой. Патрику это нравилось. Ему нравилось обманываться в человеке, который, казалось, не способен обмануть, но тот выходил из-за кулис, делал три шага но сцене и становился совершенно иным.

Но ни после выступления Элис на водоочистной станции, ни после ее игры в других местах он так и не сумел понять, как ей удается совершить прыжок от своей истинной сути к другой, такой же истинной. Об этом полете он ничего не знал. Не мог соединить двух этих женщин в одну. Знал ли ее партнер — обнимая ее на сцене, произнося красивые слова, приближая свое загримированное лицо к ее загримированному лицу, целуя ее в ушко в салонных комедиях, — знал ли он, какой она была, до того как оказаться рядом с ним?

В разгар своей любви к Элис, даже в разгар их близости он наблюдает за ее лицом, ожидая, что она преобразится в «невесту военного времени»,

или в королеву, или в продавщицу, предчувствуя метаморфозу во время поцелуя. Благовещение. Он заметит это сразу и, отпрянув, окажется в другой стране, в другом веке, сжимая в объятиях незнакомку.

Когда-то давно сережка потерялась у кровати или у раковины на кухне. Он смотрел, как полураздетая Элис ходит по комнате, одеваясь, склоняясь к вороху одежды на полу в его комнате без мебели, она сказала: *Я не могу найти сережку, это важно?* Как будто сережка могла попасться на глаза другой женщине. Элис ушла без одной сережки. *Если мы встретимся, мы сможем сказать друг другу «здравствуй», сможем сказать друг другу «до свидания».*

~~~

Дорогая Элис, единственный источник тепла в этом бараке — маленькая железная печка. Вечерами воздух наполнен испарениями от мокрой одежды, которую сушат на стропилах над огнем, и табачным дымом. Чтобы не задохнуться, те, кто лежит на верхних нарах, выдирают
~~~

мох из щелей между бревнами.

Патрик медленно читает летней ночью под единственной лампочкой в комнате, вдали от зимней стужи, понимая, что другого шанса у него не будет. Сидящая на кровати Хана наблюдает за ним. Зачем? Во время чтения он думает о том, что должно выражать его лицо, на которое смотрит дочь автора письма. В руках он держит исписанный школьный блокнот. Хана вынула его из чемодана и вручила ему. *Дорогая Элис* торопливо нацарапано крупным почерком, дальше идут подробности, свидетельствующие о том, что в последние дни своей жизни Катон старался запомнить все, что видел в лагере лесорубов близ озера Онион.

Я пишу тебе за столом, который накрепко прибит к полу. Дощатые нары приколочены к стенам гвоздями. Ночью огонь в печи гаснет, и люди просыпаются с примерзшими к стене волосами. «In the bleak mid-winter — Frosty wind made moan — Earth stood hard as iron — Water like a

stone».[5] *Первое стихотворение, которое я выучил по-английски, сочиненное кем-то в английской деревне. Оно описывает это место лучше всего.*

Патрик видит, как Катон пишет при свете сальной свечи… запечатывает письмо, передает пакет человеку, который покинет лагерь завтра утром. Пять недель спустя, открыв пакет, Элис поднесет блокнот к лицу и вдохнет в себя то, что осталось от запаха, потому что Катона нет в живых уже месяц. Она вдохнет запах сальной свечи, представит себе спертый воздух в бараке, холодный карандаш, который Катон очинил, прежде чем начать писать свои неподписанные письма об условиях жизни в лагере и о забастовке. Он сидит за обеденным столом, ровно посередине, возле него вьется серая струйка дыма из трубки. Его волосы пахнут этим дымом, он въелся в его рубашку и свитер, висит над его давно не бритой бородой.

Никто из хозяев лагеря не знает, кто он такой и как связан с готовящейся забастовкой. Но скоро они узнают. Он незаметно покидает лагерь

---

[5] Примечания: 5

Суровой зимой стонет холодный ветер, земля тверда, как железо, вода — как камень *(англ.).*

лесорубов и пешком уходит в снежную страну. Ближайший город, Порт-Артур, находится в ста двадцати милях отсюда, и Катон направляется туда.

На следующей неделе четверо всадников попытаются его поймать. Но Катон знает снежную страну, он здесь родился. Он словно проваливается сквозь землю. Он избегает проторенных дорог, спит на деревьях и даже отваживается ползком пробираться через озера по тонкому льду, который трещит под ним и стонет. Время от времени он видит сигнальные ракеты, пущенные его преследователями. В каждом лагере он пишет что-то в блокноте, сует его в консервную банку и хоронит глубоко под снегом или вешает на высокую ветку. Тем временем пакет с его письмами передается из рук в руки, пока в конечном пункте путешествия не оказывается в мешке лесоруба рядом со свернутым полотном шведской пилы.

Прорубая лунку во льду озера Онион, Катон замечает всадников. Они выезжают из леса и убивают его. При нем нет ни писем, ни документов. Они пытаются сжечь тело, но оно не горит. Бывали члены профсоюза до него, будут и после. Человек со шведской пилой посылает пачку писем из Алгомы, не зная, что отправитель

мертв, что его застрелили и спрятали подо льдом мелкой речки.

> *Из-за плохой погоды они теряют два дня в месяц. На дорогу уходит до десяти долларов в сезон, на рукавицы — шесть, на сапоги и чулки — двадцать пять, на спецовки — тридцать пять. Поскольку они вынуждены покупать все это в лагере, прибавь к городской цене тридцать процентов…*

Патрик читает, понимая, что запах дыма уже выветрился с рыхлой бумаги. Слова на странице складываются в руны — твердые, как кремень, бесстрастные посреди ада, в котором оказался Катон.

Кто он такой, чтобы касаться возлюбленной этого человека, обедать за одним столом с его дочерью, потрясенно стоять под лампочкой и читать его последнее письмо?

Он стоит посреди комнаты один, Хана ушла. Она видела, что он впал в гипноз, словно под пристальным взглядом письма. Он отдает себе отчет в том, что он делает, понимает, что с этой семьей он вновь стал искателем. Как будто он наклонился к женщине, которую только что

встретил в Парис-Плейнс, и спросил: «Кто твой возлюбленный? Расскажи мне самое страшное событие в твоей жизни». Потому что он много лет доискивался ответов. Теперь он держит в руках последние десять минут рассказа Катона. Он мысленно видит, как Элис берет пакет, который никак не мог попасть к ней в руки после смерти — после убийства, после того, как тело нашли во льду, после похорон и оправдания хозяев на суде.

Патрик, как мох, льнул к другим людям, к тайным уголкам и щелям их жизни. Он всегда был чужим, третьим лишним. Он родился в этой стране, но ничего о ней не знал. Финны из его детства пользовались рекой, знали ее даже ночью, люди с горящими факелами бурно веселились в темноте. Он не делал ничего подобного. Он был наблюдателем, корректором. Он не мог в темноте кататься на коньках по реке, не мог быть действующим лицом ни одной из этих историй. Однажды Элис описала ему пьесу, в которой несколько актрис играли главную роль. Спустя полчаса после начала спектакля всесильная матрона снимала мантию со свисающими шкурами животных и передавала ее вместе со своим могуществом кому-то из второстепенных персонажей. Так, даже

бессловесная дочь, надев мантию, могла выйти из своего кокона и обрести дар речи. Для каждого из действующих лиц наставал свой черед, и он, облачившись в шкуры диких зверей, брал на себя ответственность за происходящее.

Клара и Эмброуз, Элис, Темелков и Катон — они вершили драму без него. А он был только призмой, в которой преломлялись их жизни. Он искал и собирал. Он был застенчив, как его отец. Что это означало? Что внутри его существовали некие границы, за которые он был не в силах выйти. Внутри его было полое пространство, поэтому, когда он оставался один, когда с ним не было другого человека — Эмброуза, Клары или Элис, не важно, — он слышал шум внутри, который говорил о том, что пустота должна быть заполнена. Пробел, чреватый любовью.

Он прожил в этой стране всю жизнь. Но лишь сейчас узнал о профсоюзных битвах на севере, где Катон был убит зимой 1921 года и найден подо льдом в ручье близ озера Онион, через неделю после того, как написал свое последнее письмо. Эти события окружали Хану с рождения, были частью ее жизни. А Патрик их не замечал. Искатель, вглядывающийся во тьму своей страны, слепец, наряжающий героиню.

~~~

Каждое воскресенье они по-прежнему собирались на водоочистной станции. Они шагали по решеткам, под которыми бурлила иена, открывали двери, ведущие к водопадам. Уже готовое на три четверти величественное здание стояло на холме точно к югу от Куин-стрит, глядя на озеро. Главная водонасосная станция была устроена так, что свет, горевший в ее помещениях, не был виден снаружи. Гул работавших насосов заглушал шум собраний.

По воскресеньям, под покровом темноты, группы людей незаметно подходили к зданию со стороны берега. Они закусывали, развлекались, говорили о политике. Какой-то человек, пародируя английского короля, выступил вперед и произнес монолог на тему последних новостей. Разные национальные общины говорили и выступали на своих языках. Когда все кончалось, в залах делали уборку и подметали полы.

Патрик с Элис возвращались домой по Куин-стрит. Хана спала у него на руках. В какой-то момент, когда он почувствовал усталость, они уселись на скамейку и уложили на нее Хану,
~~~

устроив ее голову на коленях у Элис. Патрик любил этот район города, вечерние улицы казались ему продолжением собственных конечностей.

— Я хочу заботиться о Хане.

— Ты и так это делаешь.

— Более официально. Если от этого будет толк.

— Она знает, что ты ее любишь.

Июльская ночь. В какую из летних ночей она говорила, что скучает без Клары? Все эти события и чувства, которые приходится скрывать, и уставшая девочка, нуждающаяся в нашей заботе, не позволяющая нам свободно говорить, спящая на наших плечах, так что нам трудно обнимать того, кого мы любим. Он любил Элис. Склонившись к ней, он почувствовал, что ее волосы еще не высохли после спектакля.

— Ты простудишься.

— Может быть.

* * *

Он тоскует по ее маленькой фигурке, по ее сложному внутреннему миру. Всякий раз, когда

он думает о ней, он чувствует потребность снова ее увидеть. Посреди поля она снимает блузку. Он видит ее груди. *Trompe-l'oeil.*[6] Художник взял карандаш и с помощью штриховки нанес изящную тень, так они появились на свет. Он сидит и смотрит, как она принюхивается к ветру. Эту женщину он проглядел, когда был влюблен в Клару. Затмение Клары. Слова из прошлого века, звучащие как название цветка или какого-то события.

Настоящее затмение случилось на похоронах Катона, когда Элис носила под сердцем Хану. Люди, пришедшие на похороны, стояли неподвижно, пока финский духовой оркестр играл в сгущавшейся тьме, а потом и еще семьдесят минут полного затмения солнца «Похоронный марш» Шопена. Музыка — дорога жизни от одного момента света до другого.

Теперь он тоскует по ней, по дням, проходившим как во сне. Они сидели рядом в китайском ресторане, где были единственными посетителями. Им хотелось смотреть друг на друга, но в то же время хотелось обниматься, и надо было выбирать одно из двух. Сложный выбор желания.

---

[6] Примечания: 6
Обман зрения *(фр.).*

Не думаю, что я вправе требовать от человека, чтобы он причинил кому-то вред. Вот что ты сказала, Элис, и за это я полюбил тебя еще сильнее. Доверился тебе. Никто другой не стал бы об этом беспокоиться, не произнес бы этих слов, заставив меня им поверить, в ту первую ночь в твоей комнате. Как только эти слова сорвались с твоих губ, все птицы и насекомые застыли в воздухе. Думая, что критикуешь себя, ты не осознавала, что твоими устами говорит нежность.

И еще одна твоя стихия — танец. Танцуя с кем-то другим, я видел, что тебе смертельно хочется потанцевать, и, подойдя к какому-то мужчине, ты деликатно дотронулась до его плеча — твое лицо было застенчивым, но решительным.

Они сидят в поле. Они сидят в ресторане, оформленном в красно-желто-золотых тонах, сейчас, во второй половине дня, здесь, кроме них, нет никого. Голод и желание вели его по городу, с трамвая на трамвай, чтобы коснуться ее руки, ее шеи, в китайском ресторане, в македонском кафе, в поле, где он сейчас вместе с ней. По краю поля сельские дома, поэтому они ушли подальше, на середину, чтобы остаться наедине друг с другом.

По дороге он оглянется и увидит хрупкость ее груди — словно кто-то нанес карандашом штри-

ховку.

Она падает в его объятия и наклоняется вперед, выставив зад, уподобившись школьной парте. Потом он идет, пританцовывая, держа в руках колосья пшеницы. Когда ему было двенадцать, он всегда искал в книгах картинки и видел, как герои переносят женщин через реки Британской Колумбии, через подножья водопадов. А теперь она прикрывает ладонью глаза от солнца. С ним приключилась любовная история. Всего лишь любовная история. Он не хочет никакого заговора со всеми его последствиями. Дайте мне остаться в поле с Элис Галл…

Сожаление

~~~

Ему всегда хотелось быть с ней рядом, когда она состарится.

Патрик сидит в ее зеленой комнате перед листьями и ягодами в старой бутылке — этот букет Элис собрала за день до смерти. Сумах и полевые травы, сорванные под виадуком. С наступлением ночи он зажигает керосиновую лампу, бросающую тень на этот натюрморт у стены, из-за чего он кажется темным и живым.

«Позволь мне еще раз подчеркнуть крайнюю непрочность всех вещей», — прошептала она однажды.

Он раздевается и ложится в постель, еще хранящую ее запах, в постель, где он не в силах уснуть. Он остается в ее комнате, сопровождает ее последний букет в смерти и загробной жизни, после того как их душа, какой бы она ни была, испарилась из побуревших листьев. Он отдает себе отчет в том, что вскоре не сумеет точно воссоздать в памяти ее лицо. Он мысленно фокусирует взгляд на шраме у носа. Она постоянно помнила о нем,
~~~

считала, что он нарушает симметрию ее лица. Как вызвать ее к жизни без этой тонкой линии?

Ему хотелось быть с ней рядом, когда она состарится. За обедом она отстаивает перед ним свои идеи, поднимая бокал: «За нетерпение! За эволюцию человека!» — в то время как его восхищенное внимание поглощено ее плечом, блеском ее волос. Когда он говорил, что хотел бы состариться вместе с ней, она всегда усмехалась — как будто заключила другое соглашение, как будто ей указан другой союз. Ему не терпелось узнать, какой она станет с годами, — когда они остепенятся, когда их сексуальность будет не такой острой, не такой необузданной. Он полагал, что впереди его ждет это удовольствие, на черный день припасенная радость, и потому он всегда сможет сказать: делайте со мной что хотите, отнимите у меня все, посадите меня в тюрьму, но я буду рядом с Элис Галл, когда мы состаримся. Даже если мы уже не будем любовниками, я буду приходить к ней каждый день, как на свидание, и за обедом мы будем обмениваться мыслями, смеяться, и этот разговор будет нашей любовью.

Он этого хотел. А чего хотела она?

— Я никогда не была такой счастливой,

как во время беременности. Когда я *расцвела.*

— Не понимаю, что ты во мне нашла.

— С тех пор как я встретила тебя, мне стало хорошо. С тех пор как мы жили вместе с Кларой и ты ничего не видел, кроме нее, а я наблюдала за тобой. Нет, я не ревновала, я не была влюблена в тебя. Тогда, вместе с Кларой, я научилась удивительным вещам. Мы с тобой никогда не поймем друг друга до конца, Патрик. Чтобы вместе смеяться над некоторыми вещами, женщине нужна женщина. Мы с Кларой чувствовали себя целым миром! Но после этого было время, когда я совсем пала духом. А ты дал мне силы. Уверенность в себе.

Теперь вокруг нее глубокий ров, который ему никогда не пересечь. И не зачерпнуть из него ладонями воды, чтобы напиться. Словно, проделав долгий путь до замка, чтобы набраться мудрости для великих дел, он должен повернуть назад.

* * *

Покинув комнаты на Веррал-авеню, Патрик

оказывается на вокзале Юнион, и, когда поезд трогается с места, пейзаж растворяется во тьме. Патрик фокусирует внимание на полосе за окном вагона шириной в тридцать ярдов, пока его сознание не выключается и он уже не думает ни о чем, даже о смерти Элис. У его ног черный картонный чемодан. Теперь он может думать только о неодушевленных предметах. Что-нибудь живое, даже маленькая серая птичка на ветке, может разбить ему сердце.

Ночной поезд, мчащийся на север, в Хантсвилл, полон людей, спешащих на регату, — веселые мужчины в соломенных канотье и шелковых шарфах снуют мимо стоящего в коридоре Патрика, направляясь в спальные вагоны, задевая его пьяными телами. Он смотрит сквозь свое отражение, зачарованный безумным парадом неба, скал, деревьев и луны. Никакой концовки или паузы. *Элис…* — шепчет он мертвое имя. Неизменно лишь мертвое имя.

Прямоугольники света скользят по земле. Патрик направляется в конец коридора, распахивает дверь и под неистовый грохот колес встает на ничьей территории между вагонами, держась за жесткие, похожие на гармошку стены.

У Элис была идея, раз и навсегда, как ей каза-

лось, объяснявшая происхождение богатства и власти. А в последнюю секунду, когда она обернулась к нему на улице, услыхав свое имя, изумившись тому, что Патрик рядом, — в ту секунду еще ничего не случилось, ничего еще не было кончено. Он мог думать только о ее глазах, глядевших на него, и о страшной ране, которая внезапно появилась миг спустя.

Поезд прибывает в Хантсвилл в три ночи. Патрик смотрит, как проводник идет по коридору спального вагона, помечая оставленную для чистки обувь, и через несколько минут возвращается с мешком и бросает ее туда. Пассажиров разбудят только в семь.

Помощники проводника сидят на ступенях поезда, начищая башмаки. Они тихо переговариваются и курят. Патрик видит их в желтом свете вокзального фонаря. Он бредет к концу платформы, где темно. Вокруг пустынно. Он чувствует себя прозрачным и очень маленьким. Сейчас, в эту августовскую ночь, цивилизация представлена двумя людьми, чистящими обувь на ступеньках вагона. Патрик смотрит на них из темноты. Он прошел сквозь заводи света на платформе и не впитал в себя свет. Пройди он под дождем, он вымок бы до нитки. Но свет или

человек, чистящий коричневый ботинок в четыре утра, — это всего лишь идея. И ей не обратить Патрика в свою веру. Утрата наполняет его ядом. В такие минуты он мог бы сунуть руку под колеса поезда назло машинисту. Он мог бы схватить дикобраза и размозжить его об изгородь, не заботясь о том, сколько игл вонзится ему в руки и шею.

В восемь утра пассажиры выходят из поезда, сонные, изумленные собственной способностью двигаться, и направляются к причалу, принадлежащему судоходной компании «Хантсвилл энд Лейк-оф-Бейс». Патрик с хлипким чемоданом в руках поднимается на борт парохода «Алгонкин».

Большинство приехавших на регату остановятся либо в «Бигуин Инн», либо в гостинице «Маскока». Пока корабль плывет мимо покрытых лесом островов, Патрик изучает декорации. Там и сям однообразие пейзажа нарушают поросшие травой лужайки. Обстановка, привлекающая сюда состоятельных людей, представляется ему на удивление спартанской. Он находит на палубе кресло и засыпает, но даже во сне его руки крепко сжимают чемодан. С каждым гудком парохода, петляющего по Норт-Портидж, Патрик просыпается. Когда они проплывают мимо острова Бигуин, их со скалистого мыса приветствует

англоканадский оркестр — тубы, тромбоны, скрипки и все такое. Вместе с остальными пассажирами Патрик машет рукой. Назад он вернется другим путем. А пока он может и помахать.

~~~

В Саду слепых на Пейдж-Айленде из простертой руки каменного херувима бьет фонтанчик воды. На южной стороне газона раскинуло ветви высокое дерево, полное птиц. Водопад звуков — крики птиц сливаются со стуком капель — низвергается на сидящую здесь слепую женщину. Плывущие в воздухе семена опускаются на гравий — звучащую дорожку для гуляющих здесь слепых. На одной из скамеек под деревом сидит Патрик и читает газету.

Если он закроет глаза, эти звуки зальют его, подобно струям воды, взмывающей в воздух с ладони херувима и падающей на его лицо. Стремительно проносится птица. Сидящая справа женщина, услышав шелест газетных страниц, понимает, что Патрик здесь чужой.

После вчерашнего пожара он прячется в саду на соседнем острове, невидимый среди слепых, дожидаясь темноты.
~~~

Ослабив пробку на канистре с керосином, он снова положил емкость с булькавшей жидкостью в черный картонный чемодан. Затем двинулся по антресолям гостиницы «Маскока». Он дождался, пока постояльцы и персонал покинут помещение, чтобы собраться на лужайке на ужин по случаю регаты. Перегнувшись через перила, он увидел под собой чучела голов животных — жидкость потекла на пол — и стал спускаться по лестнице с безобидным чемоданом в руке. Запахло керосином. «Пожар!» — крикнул он, зажег спичку, бросил ее, и огонь помчался вверх по лестнице и вокруг и еще раз вокруг антресолей. Огонь охватил его руку. Патрик окунул рукав пиджака в аквариум. У основания лестницы чемодан взорвался. Патрик шел по вестибюлю гостиницы «Маскока», а над ним горели головы оленей.

Он шел из огня к воде. По дороге к лодке он проверил взрывчатку, спрятанную под причалом. В голубых вечерних сумерках люди на лужайке ошеломленно смотрели на пламя. Кто-то из гостей, увидев, что он отвязывает лодку, указал на него. Стоя в лодке, Патрик помахал рукой. Неуверенно помахав в ответ, несколько человек побежали к причалу, полагая, что это кто-то из

знакомых, и, спрыгнув на настил, устремились к нему.

Он поджег запал и начал грести от берега. Пламя, словно разыгравшийся козленок, подпрыгнув, с шумом кинулось к ногам двоих мужчин. Они остановились и повернули назад. Теперь они поняли, в чем дело. Тот, кто постарше, прыгнул в воду, тогда как другой, положив руки на бедра, замешкался, и бег рассыпающего искры голубого пламени завершился слабым взрывом, отделившим причал от берега.

Теперь, в Саду слепых, он начинает различать не звуки, а запахи — растения заботливо подобраны таким образом, чтобы посетители с тонким обонянием могли передвигаться от аромата к аромату. Слева от него благоухает чубушник. Патрик наклоняется к высокой клумбе — тремя футами выше дорожки — и глубоко вдыхает его запах.

За его спиной раздаются шаги, и кто-то трогает его за плечо. Рядом с ним стоит слепая женщина, слышавшая шелест газеты.

— Вы зрячий, — говорит она.

— Да.

Она улыбается.

— Вы шумно нюхаете цветы.

Ее зовут Элизабет, и она предлагает показать ему сад. Говорит, что ее сестра лучше распознает цветы и травы, потому что не пьет.

— Я пью как дельфин, но только во второй половине дня. Трагическая любовь в тридцать лет.

Они шагают рядом, и Патрик смотрит, как ее тело свободно перемещается в этом мире, как она уверенно идет к базилику и широколистному щавелю. На ходу она опускает руку, чтобы погладить шелковистую заячью траву. Сад — ее бальный зал, и она знакомит Патрика с сокровенными свойствами укропа и тмина, этих двух скромных братьев; советует нагнуться и помять некоторые листья, аромат которых слишком слаб, чтобы он мог его оценить.

— Чтобы сосредоточиться на запахах, следует забыть о звуках. Птицы прелестно щебечут, но, когда я прихожу сюда пьяной или с похмелья, их крик выводит

меня из себя. И тогда мне хочется пропитать хлороформом носовой платок, влезть на дерево и усыпить их всех.

В центре сада, к северу от забрызганного водой херувима, стоит еще одно дерево, без птиц.

— Вероятно, вы смотрите на камфорное дерево… птицы лучше нас распознают смерть. У растений сложная генеалогия. Птица судит о сочном фрукте по его родословной. Вы можете любить манго или кешью, можете находить красивыми цветки сумаха, но птицы знают, что все они, как ни странно, принадлежат к ядовитому семейству сумаха ядоносного.

Она ведет его к заморским редкостям — японской хурме и чернотраву. Ей хочется узнать, кто он такой, но он отмалчивается, хотя и ведет себя любезно, — она ему нравится. Он пробудет здесь до вечера, а потом попытается переплыть с острова на корабль. На клумбах в восточной части сада растут эстрагон, лаванда и кардамон. Она кладет ладони на его лицо и ощупывает. Находит рубец возле уха.

— Наложите сюда бальзам из трав.

— Меня ищет полиция.

— За что?

— За преднамеренное уничтожение собственности.

Она смеется.

— Не обижайтесь на жизнь.

Они стоят в этом саду, уподобляясь фризу или статуе, — женщина мягкими ладонями закрывает лицо высокому мужчине, лишает его зрения.

Убирая руки с его глаз, она чувствует его короткий вздох, вызванный не страхом и не отвращением, а чем-то другим.

— Что с вами?

Ее зеленый глаз пробуждает память о чем-то сокровенном. *Actias Luna* — и его канадское название: *papillon lune,* лунный мотылек. Другого глаза просто нет. Обвислое веко ничего не закрывает. Но изумрудно-зеленый глаз, зеленый, как мотылек, проворно движется, словно пытаясь поймать его взгляд, восторженно скользит по его плечам, задерживается на ухе, носе. Ему нравились лун-

ные мотыльки, переливы их нижних крыльев — опознавательный знак, — папирусная текстура и крошечное мохнатое тельце, пульсирующее на ветви или на скале под светом фонаря. Влажное зеленое зеркало глаза женщины пытается отразить все, что ее окружает.

— Что с вами?

Патрик дает ей отвести себя назад, на скамью. Они садятся, и она крепко сжимает его руку. Он чувствует, что сейчас в этом маленьком саду, наполненном пронзительным криком птиц, она видит его насквозь. На тугой коже ее рук голубеют тонкие вены. Он не в силах говорить, даже если все его слова поглотит ее слепота. Он мог бы сказать: Элис Галл однажды оперлась рукой на низкий скошенный потолок и говорила о важных вещах, она прыгала, словно живая кукла, мне на руки, а потом умерла у меня на руках на залитой кровью мостовой.

Пока они здесь сидят, в сад никто не заходит. Рядом с деревянной скамьей цветут розмарин и перечная мята. На клумбе справа от них *artemesia advacumculas,* общепринятого названия которой, по ее словам, она не знает. Мышцы ее руки постепенно слабеют, и он поворачивается, чтобы

взглянуть на ее лицо. Она дремлет, откинувшись назад. Он высвобождает руку и уходит.

Теперь он часть вечерней воды, с него скатывается отражение огней причала. Шесть звезд и луна. Новость о пожаре с ревом выплеснулась за пределы гостиницы «Маскока», и вот Патрик борется с течением у Пейдж-Айленда, направляясь к кораблю. Тот полз со скоростью улитки сквозь черноту озера, а теперь остановился в пятистах ярдах от берега. Ночной круиз с танцами — до Патрика доносятся приглушенные звуки голосов и тамбурина. Полумесяц, несколько звезд, кольцо огней на причале.

Когда-то в прошлом он мечтал о таком моменте: преступный заплыв в темноте к светящемуся кораблю. Он чувствует, что выпал из какого бы то ни было контекста, что хочет спать, хочет вновь оказаться в потоке, из которого только что выплыл, вернуться в Сад слепых и уснуть. Но его как магнитом влечет к безымянному пароходу.

Затонувшее бревно, всплыв, толкает его под ребра, Патрик слышит свой звериный крик. В давних мечтах о том, как он плывет к кораблю, присутствовали тропические ветры и крокодилы. Он поднимает голову из воды, чтобы увидеть, кто его задел, но рядом никого нет. «Это было

бревно», — громко говорит он сам себе, исполнившись решимости, страх внезапно сменяется приливом сил. После встречи с затонувшим бревном он полон жизни, неукротим и возбужден. Он вспоминает свой уход из мира, вспоминает, как покинул порт-кошер гостиницы «Маскока», оставив позади бушующее пламя. Он видит свое лицо, которое никогда не выступит из тени. Оно неисторично.

Он плывет дальше, вдыхая еле уловимый запах пеканового дыма от островных костров. Ему безумно хочется есть. Музыка с корабля. «Берегись смешных ужимок, перекрашенных блондинок, непредвиденных заминок…» — голос певца перекрывает приглушенный звук оркестра. Что они сделают, когда увидят, как он взбирается вверх по канату, в озерных водорослях, в крови от удара бревна по ребрам?

Он плывет вдоль корабля в лунном свете, поднимает глаза — «Чероки». Свет из кают и салона падает на воду. Наверху открытая палуба, танцующие пары, оркестр. Патрик подтягивается, ухватившись за вертикальные полосы резины, защищающие борта при входе в гавань. Почувствовав запах пищи, он быстро взбирается наверх, запрыгивает в окно головой вперед и

приземляется на стол. Он попал на кухню.

Кок, обернувшись на шум, видит Патрика, лежащего на спине среди разбитого стекла. Патрик прикладывает палец к губам и держит до тех пор, пока кок, кивнув, не направляется к двери, чтобы ее закрыть. Патрик слезает со стола, всюду вокруг него стекло. Молчание, наступившее на палубе, сменяется громким смехом, восклицаниями по поводу, как им кажется, упавшего подноса или какой-то другой причины шума. Кок ходит по кухне с метлой, пока Патрик снимает мокрую одежду. На бедре и под ребрами глубокие порезы. Кок, жестами показав, что отправляется спать, тихо, словно привидение, покидает кухню. Патрик подходит к выключателю и гасит свет.

Сейчас, должно быть, где-то около полуночи. Шум на палубе не умолкает, оркестр сплетает мелодию о подозрительной любви, неуверенной любви. Ее переливы проникают на большую кухню, хозяином которой он может показаться. Он знает, что его поймают, вероятно, арестуют, но пока наслаждается кратким мигом свободы.

Он выжимает одежду, включает большую духовку, расправляет рубашку и брюки и с помощью пекарской лопаты сажает в печь. Потом ищет еду. Находит вареную картошку. Вынимает

из холодильника кусок сырого мяса и склоняется над стойкой. Сначала он скромно ест одну картошку. Затем острым ножом нарезает мясо на полоски и ест его, слизывая жидкость, текущую по рукам. Время от времени он встает, чтобы попить воды из крана и проверить, как сохнет одежда в духовке, установленной на минимальный нагрев.

Книга третья

Караваджо

Железная крыша тюрьмы была голубой. Они красили крышу кингстонской тюрьмы голубой краской, до самого неба, так что три человека, занятых этой работой, затруднились бы сказать, где проходит четкая грань между крышей и небом. Как будто они могли подняться выше, за пределы жестяной поверхности, в океан наверху.

К полудню, после четырех часов работы, им начало казаться, что они могут пройтись по голубому воздуху. Заключенные Бак, Льюис и Караваджо понимали, что это обман, смятение чувств. Почему крышу надумали красить голубой краской? Они не могли пошевелиться, не подумав дважды, где кончается ее поверхность. Временами Патрик Льюис с казенной кистью в руке холодел от страха. Еще один неосторожный шаг — и он сорвется вниз. До земли было пятьдесят ярдов. Ведра с краской — по одному на каждом скате — соединяла веревка, поэтому люди передвигались вдоль длинной крыши симметрично. В перерывах они сидели на коньке, жуя сандвичи, и не спускались вниз весь день. Во время работы они пачкали жидкой краской

руки и, почесав нос, понимали, что стали отчасти невидимыми. Если они будут красить достаточно долго, то исчезнут, — голубые птицы в голубом небе. Патрик Льюис подумал об этом, закрасив жука, который застыл на голубой поверхности металла.

— *Демаркация,* — произнес заключенный по имени Караваджо, — вот о чем нам не следует забывать.

Так он и сбежал: его перетянули под мышками длинным двойным ремнем, прикрепленным к куполу, чтобы он мог висеть, раскинув руки, а тем временем Бак с Патриком покрывали голубой краской его ладони, ботинки и волосы. Выкрасив его одежду, они накрыли ему глаза сложенным носовым платком, замазали голубым его лицо, и он исчез — для охранников, смотревших вверх.

Когда поиски прекратились и прозвучал сигнал погасить прожектора, Караваджо не двинулся с места, он знал, что в небе появился серп молодого месяца, хотя не мог его видеть. Воровская луна. Когда стих ветер, он услышал молчание озера Онтарио. Покачивание парусных шлюпок. Скрежет совиных когтей по жестяной крыше. Он попробо-

вал пошевелиться в своем коконе из высохшей краски — поначалу не в силах преодолеть скованность, — почувствовал, как затрещат одежда, когда он протянул руку, чтобы снять платок. Он не видел ничего, кроме ночи. Караваджо расстегнул ремень и, размотав веревку, припрятанную в куполе, спустился с крыши.

С белым прямоугольником на глазах он промчался по Бату в поисках скобяной лавки. Экзотическое существо, которому необходимо до рассвета избавиться от голубой кожи. Но ни скобяной лавки, ни магазина, где торгуют красками, нигде не было. Тогда он забрался в магазин одежды, содрал с себя в темноте засохшие тряпки и натянул то, что висело на вешалках и было ему по размеру. На втором этаже играло радио, и звуки джаза послужили ему компасом. Он взял там перчатки. Вскоре он на ходу впрыгнул в медленно идущий пригородный поезд и залез на крышу. Шел дождь. Караваджо снял ремень, накрепко пристегнулся к вентиляционной трубе и уснул.

В Трентоне он отстегнул ремень и скатился на платформу, как только поезд тронулся с места. Его кожа оставалась голубой, и он не понимал, как выглядит. Он разделся и разложил свою одежду на траве, придав ей форму человеческого

тела, чтобы взглянуть на нее при свете дня. Он ничего не знал о Трентоне, кроме того, что до него три часа езды из Торонто на поезде. Он снова поспал. Во второй половине дня, зайдя в лесок, примыкавший к промышленной зоне города, он увидел вывеску: «Фабрика Редика по изготовлению оконных рам и дверей».

Он поправил на себе одежду, пригладил волосы и вышел из-за деревьев: зеленый свитер, черные брюки, голубые ботинки и голубая голова.

На груде досок рядом с фабрикой сидел подросток, заметивший его, едва он вышел на поляну. Мальчик не двигался, просто смотрел, как он приближается, стараясь выглядеть непринужденно, — до фабрики было долгих двадцать пять ярдов.

— Как тебя зовут?

— Альфред.

— Сходи туда, пожалуйста, Альфред, и посмотри, нет ли там скипидара.

— Вы снимаетесь в кино?

— В кино? — Караваджо кивнул.

Подросток убежал и через несколько минут вернулся, по-прежнему один. Это было хорошо.

— Это фабрика твоего отца?

— Нет. Мне просто здесь нравится. Все двери стоят снаружи, гам, где им совсем не место.

Пока мальчик говорил, Караваджо оторвал кусок от подола своей рубахи.

— А в городе есть еще такое место, где на ветвях висят лодочные и автомобильные моторы.

— Правда? Ал, поможешь мне стереть краску с лица и волос?

— Ну конечно.

На исходе дня они сидели в солнечном свете у стоявших вокруг дверей, и мальчик, окуная оторванный кусок рубашки в банку, стирал с лица Караваджо краску. Они мирно беседовали о том месте в городе, где моторы висят на деревьях. Когда Караваджо расстегнул рубаху, мальчик, увидев страшные шрамы у него на шее, вздрогнул. Как будто гигантская птица, пытаясь оторвать ему голову, оставила отметины своих копей. Караваджо сказал, чтобы мальчик забыл про кино, что он не актер, а сбежал из тюрьмы.

— Я Караваджо, маляр, — рассмеялся он.

Мальчик обещал никому не говорить.

Они решили остричь ему волосы, и мальчик принес со склада большие садовые ножницы, щелкая ими в воздухе. Вскоре Караваджо стал почти лысым и явно неузнаваемым. Когда владелец дверной фабрики ушел куда-то по делам, Караваджо воспользовался ванной и смыл скипидар с лица мылом. Он впервые увидел в зеркале свою шею, исполосованную в тюрьме три месяца назад.

Во дворе мальчик написал свое имя на клочке бумаги. Потом вытащил из кармана старую деревянную затычку от бутыли с кленовым сиропом с цифрами 1882 и обернул бумажку вокруг нее. Когда мужчина вернулся, уже умытый, мальчик протянул все это ему.

— Сейчас мне нечего тебе дать, — сказал мужчина.

— Я знаю, — ответил подросток, довольно улыбнувшись. — Просто запомните мое имя.

Он бежал, его ботинки исчезали в серых за-

рослях. Прочь от озера Онтарио, на север, где он наверняка найдет пустой коттедж и сможет спокойно отсидеться несколько дней. Для Караваджо не существовало мирного пейзажа. Склонившееся дерево, побитый ветром цветок, чернеющее облако, падающая шишка — все перемещалось с разной скоростью под действием враждебных сил. Он замечал все это, пока бежал. Его взгляд, словно пятнадцать часовых, просматривал все подходы.

Он бежал по левой стороне канала Трент, мимо красных шлюзов и поднимавшихся из воды бетонных платформ. Каждые несколько миль он останавливался и смотрел, как начинает волноваться зеркальная вода по ту сторону шлюзных ворот, а потом продолжал свой бег. За два дня он продвинулся на север до Бобкейджена. В ту ночь он спал среди досок на лесопилке Бойда, а следующим вечером бежал по дороге. Спускались сумерки. Он уже три ночи спал вне тюрьмы. На его запястье оставалось чуть-чуть голубой краски.

В первых коттеджах он заметил слишком много признаков жизни, на берегу стояли вытащенные из воды каноэ. Войдя в подъездную аллею, он добрался до коттеджа с застекленной верандой,

зелеными ставнями, крашеными фронтонами и двускатной крышей. Если хозяева окажутся дома, он сможет вылезти из окна второго этажа и уйти по крыше. Караваджо оглядывал архитектуру дома, как это делают воры, которые знают, что у стенных шкафов тонкие задние стенки и что легче пробраться сквозь отверстие в заборе, чем перепрыгнуть через него.

Он стоял в сумерках, тяжело дыша, поглядывая на дом, он изнемог от бегства и съел за эти дни только несколько кусочков шоколада, которые дал ему мальчик. *Ал.* Небо позади него быстро темнело. Через десять секунд он был уже внутри.

Он возбужденно прошелся по комнатам, рука, скользнув по спинке дивана, наткнулась на стопку журналов на полке. Он повернул налево, в кухню, и в темноте открыл ножом консервную банку. Сегодня никакого света. Он съел бобы, орудуя ножом, он был слишком измотан и голоден, чтобы искать ложку. Потом поднялся на второй этаж, сорвал с кровати две простыни и расстелил их в холле у окна, ведущего на крышу.

Он ненавидел время сна. Ему приходилось работать при любом освещении. Ночью, пока жена спала в его объятиях, комната вокруг него оставалась полной жизни, и его тело отзывалось

на малейший шум, взгляд расцвечивал темноту. Сон у него был чуткий, как у всех воров, — вот почему они всегда усталые.

* * *

Он входит в темную воду. Теплую, как кровь. Он не видит, и не чувствует горизонта, не знает, где кончается жидкость, в которой он стоит. Ночной воздух полон угрозы. В воду соскальзывает какое-то животное.

Река неглубока, он может перейти ее вброд. Ботинки со связанными шнурками висят у него на шее. Он старается их не намочить, но по мере того, как он заходит все глубже, они, наполняясь водой, тяжелеют. Дно реки представляется ему надежным. Ил. Какие-то палки. В сотне ярдов к югу мост из дерева и бетона. Шнурки от ботинок врезаются в ключицу.

Пока Караваджо спит, откинув голову назад, и видит привычный кошмарный сон, в его тюремную камеру тихо входят трое. И когда они входят, Патрик в камере напротив выкрикивает, как на танцах: «Аллеманда, шаг с левой ноги вперед!» — его крик в глухой темноте звучит предупреждением. Трое мужчин оборачиваются на внезапный шум, и Караваджо вскакивает на

ноги, пытаясь стряхнуть с себя кошмарный сон.

Скрутив в жгут его серую простыню, мужчины заматывают ему глаза и рот. Караваджо еле дышит, он будто с задержкой слышит, как ему наносят удары по голове. Он не в силах пошевелиться в простыне. Еще удар. Патрик продолжает выкрикивать куплеты песни, заключенные в других камерах просыпаются и начинают стучать по железным прутьям. *«Птичка, улетай — в**о**рон, прилетай — в**о**рон, шаг вперед — птичка, сделай поворот».* Откуда-то из прошлого всплывает репертуар его отца и становится саундтреком убийства.

Животное из кошмара обнажает зубы. Караваджо увертывается, и зубы чудовища вспарывают ботинок, висящий на шее справа. Оттуда вытекает вода. Караваджо чувствует, что стал легче. Раскачиваясь из стороны в сторону, ничего не видя, не чувствуя запахов, он десятилетним мальчишкой бешено раскачивается на дереве. Удар кулака или удар о стену. «Проклятый итальяшка! Макаронник!» — *«Движемся по кругу, лицом друг к другу».* — Караваджо поднимает руки, защищаясь от водяной твари, жертвует руками ради тела. Кровь внутри его иссякает. В горле пересохло. Его охватывает острое желание упасть на колени и

лакать воду из блюдца.

Трое мужчин с победоносным видом неторопливо наносят удары. «Получай, макаронник!» Удар ногой в живот вновь вызывает к жизни голос певца, как если бы включился музыкальный автомат, быстрые ровные звуки сплетаются в двудольный размер, в то время как на ничего не видящего Караваджо сыплется град ударов. У Караваджо только один союзник — певец, иначе его мозг так и останется под водой. Потом его отпускают.

Он продолжает стоять с завязанными глазами, вытянув перед собой руки. Человек из камеры напротив умолкает, понимая, что Караваджо должен вслушиваться в тишину, чтобы понять, где его обидчики. Немые свиньи. Он мог бы выкрасть зубы у них изо рта. Все наблюдают за тем, что происходит, кроме него, его глаза завязаны, руки вытянуты перед собой. Самодельная короткая бритва, описав полукруг, свистит возле правого вспоротого ботинка. Караваджо падает на покрытую известкой стену. Жидкость из другого кожаного ботинка выливается в реку, словно из опавшего легкого. Вакуум тишины.

Караваджо понимает, что те трое ушли. Раздается спокойный голос очевидца, чья песня

доносилась откуда-то сверху. «Тебе перерезали шею. Пойми! Тебе перерезали шею. Ты должен зажать ее, пока кто-нибудь не придет». И Патрик кричит в известковую темноту, зовя на помощь.

Караваджо находит свою койку. Встает на колени на матрас — опираясь на голову и локти, чтобы израненное тело не чувствовало боли. Кровь течет по подбородку в рот. Как будто он сожрал напавшее на него животное, и он сплевывает скопившуюся во рту жидкость — старую слюну, кровь, — сплевывает вновь и вновь. Все куда-то пропадает. Левой рукой он трогает себя за шею, ее там нет.

* * *

На следующее утро Караваджо на каноэ осматривал берег в окрестностях коттеджа. Когда он выплыл на озеро, в бухте появилась женщина в другом каноэ и окликнула его. Рыжие волосы. Гладкая белая кожа, как у ведьмы. Шляпа, повязанная шарфом. Женщина помахала ему рукой с полнейшим доверием, означавшим, что человек, плывущий на каноэ по этому озеру, сразу же попадает в разряд своих и не вызывает ни малейших опасений, даже если каждый предмет его одежды украден из голубого комода в коттедже.

Рубашка цвета лаванды, белые парусиновые брюки и теннисные туфли. Он перестал грести. После нескольких умелых ударов веслом она оказалась рядом с ним.

— Вы остановились у Нилов.
— Откуда вы знаете?

Она указала на каноэ. Здесь людей узнают по каноэ.

— Они приедут в августе?
— Наверное. Они еще не решили.
— Они всегда так. Я Энн, их соседка.

Женщина указала на стоявший рядом дом. Она была в купальнике и легкой юбке, босиком, на плече весло.

— Меня зовут Дэвид.

Капли воды стекали по коричневому дереву ей на кожу. Он смотрел на ее удивительно гладкое, без пор лицо, время от времени выныривающее из тени соломенной шляпы. Он решил не скрывать свой неопределенный статус.

— Я здесь, чтобы немного прийти в

себя.

— Для этого здесь *замечательное* место.

Он снова посмотрел на нее, теперь по-другому — не обращая внимания на белую гладкую кожу и голые руки.

— Почему вы так сказали?

Она заслонила рукой глаза от солнца. Вопросительный взгляд.

— Вы только что сказали…

— Просто я люблю это место. Если вы здесь в одиночестве, оно залечивает раны. Вы художник?

— Что?

— У вас мазок аквамарина на шее.

Караваджо улыбнулся, он очень долго называл этот цвет голубым.

— Мне пора, — сказал он.

Приподняв весло, она положила его на колени и кивнула самой себе, почувствовав стену, которая только что возникла между ними. Их каноэ

столкнулись, и она сделала гребок назад. Он никогда не слышал, чтобы кто-то вложил столько щедрости в одну фразу. *Здесь замечательное место.*

— Спасибо.

Она удивленно обернулась.

— За то, что сказали про аквамарин.
— Что ж… наслаждайтесь озером.
— Я так и сделаю.

Она почувствовала его замкнутость. Она жила здесь одна, не видела никого неделями и подплыла слишком близко, говорила слишком громко. Пока она удалялась, он провожал взглядом ее хрупкую спину.

Караваджо смотрел на поверхность воды, словно та была живым существом, по спине которого он передвигался. Он не думал о сближении или разрыве, единственно возможным в данном случае был выбор между насилием или дружеским общением.

* * *

Когда Караваджо впервые обратил внимание на Патрика Льюиса, смотревшего на него из камеры напротив, он просто помахал ему рукой и отвел глаза. В тюрьме Караваджо большую часть времени спал беспокойным сном. Ночной свет в камерах и постоянный шум действовали ему на нервы. Но заключенному из камеры напротив, который пытался поджечь гостиницу «Маскока», приходилось еще хуже. Он всегда неподвижно сидел на кровати, наблюдая за тем, что происходит вокруг. Когда Караваджо вернулся из тюремной больницы с зашитой после нападения шеей, Патрик его ждал. А на следующее утро, внезапно проснувшись от боли, Караваджо встретил ободряющий взгляд Патрика. Тот сидел на привычном месте и аккуратно курил, отводя руку с сигаретой далеко в сторону, когда выпускал дым.

— У тебя ведь есть рыжий пес? — спросил он Караваджо несколько дней спустя.

— Рыже-коричневый, — просипел тот в ответ.

— Ты вор, верно?

— Самый лучший. Вот почему я, как ты видишь, здесь сижу.

— Похоже, кто-то тебя выдал.

— Да. Рыжий пес.

Караваджо учился на вора в темных комнатах, свинчивая ножки с кухонного стола, снимая задние панели радиоприемников и днища тостеров. Он задергивал занавески, чтобы устранить любой намек на уличное освещение, и опустошал кухонные шкафы, а затем возвращал все на место, не забывая о предметах, лежавших на полу. Вот такой пелманизм.[7] Пока его жена спала, он выносил мебель из ее спальни и задвигал туда диван, менял картины на стене и салфетки на тумбочке.

При дневном свете он двигался медленно, будто хотел сохранить остатки энергии, — летучая мышь в посткоитальном полете. Он заходил в обивочную мастерскую, чтобы по заказу жены купить чехлы, и тут же начинал прикидывать, как вынести отсюда мебель: стулья через окно, а столик через дверь, наклонив на тридцать градусов вправо.

---

[7] Примечания: 7

Детская настольная игра, развивающая память.

Будучи вором, он воспринимал мир как то, что находится вокруг него в радиусе двадцати футов.

Во время первого грабежа Караваджо повредил ногу, выпрыгнув из окна второго этажа. Он лежал на газоне в Уайтвейле на спине, со сломанной лодыжкой и рисунком Джеффри в руках. Пока он там лежал, хозяева вернулись домой и подняли крик, увидев усыпленную хлороформом собаку. На веранде зажглись огни, но, к счастью, его скрывала тень от дерева.

Два часа спустя он доковылял до каких-то длинных сараев и догадался об их назначении лишь по запаху. Хозяйство по выращиванию шампиньонов. Свет горел только в офисах и коридорах, а в длинных дортуарах, где росли грибы, всегда было темно. Он знал, что ему делать. В вестибюле висели каски с лампочками на батарейках. До рассвета оставалось совсем немного. Было воскресенье. Он может провести здесь спокойно целый день. Позже, при свете дня, он разрезал ботинок и носок. Наложил шину и примотал ее изоляционной лентой. Хуже боли был голод. Он посмотрел при свете на украденный рисунок — чистые линии, дрожащая подпись.

В сумерках он, прихрамывая, пробрался в огород на той стороне дороги, выдернул несколько

морковок и сунул за пазуху. Попытался изловить курицу, но та пустилась наутек, оставив его ни с чем. Караваджо вернулся к скудному освещению в коридорах грибного хозяйства. Он просмотрел учетные карточки рабочих. *Сальваторелли, Маскарделли, Дакила, Перейра, Де Франческа.* Большинство из них были итальянцами, некоторые португальцами. От четырех до восьми человек в смене. Почувствовав себя увереннее, он осмотрел шкафы и ящики в офисе.

Он знал людей, которые, проникнув в офис, оставляли кучу говна на столе, но он не принадлежал к их числу. Ему объяснили, что это довольно распространенная практика. Многие воры-любители не контролируют себя. Всецело сосредоточившись на идее грабежа, они теряют контроль над телесными проявлениями. Подобный акт свидетельствует о грубости натуры, и вор-профессионал предпочитает этому жесту медицинскую тщательность осмотра помещения. Рецепты во всех подробностях заучены наизусть, на главных страницах ни единой помарки. В центре симметричного плана фальшивая справка о невменяемости.

Присоединившись к компании воров, Караваджо больше всего был поражен их вежливостью.

Даже «говнюки» выглядели рафинированно и носили очки-полумесяцы. Не нюхали табак, чтобы не притупилось обоняние. В кафе в западной части Торонто было полно мужчин, которые не работали днем, просыпались в полдень и, побрившись, завтракали с друзьями. Караваджо приняли приветливо и прочли ему весьма традиционный курс лекций об искусстве грабежа. Одни из них вытаскивали вещи из дома, другие похищали скот, третьи собак и жен, четвертые имели дело только с мясной продукцией или документами. Каждый расхваливал свой стиль и область интересов. Каждый пытался убедить молодого человека в преимуществах своего занятия, не поощряя в то же время чрезмерной конкуренции.

Караваджо был молод. Он благоговел перед ними, хотел быть каждым из них в решительный момент. Он околачивался возле них не столько для того, чтобы выучиться ремеслу, а чтобы понять, как они живут, возвращаясь в мир, где царит заведенный порядок. Этой науки он еще не освоил. В кафе «Голубой подвал» он попал, когда ему было двадцать два, и его приводило в восторг то, что он видел. Он входил в особняк, и его переполняла зависть. Пока его рука скользи-

ла по перилам, ладонь и пальцы наслаждались гладкостью дерева. Замысловатые выключатели! Ковры, в которых утопают ноги! Он перенимал эти внешние проявления и уходил с их изысканностью и брендами, ритмом и отвлеченным тоном рассуждений.

Позже он по неделе следил за каждым из них, чтобы понять, как они работают. Одни входили в дом и через три часа выходили с мелкими предметами, умещавшимися в боковом кармане. Другие за полчаса выносили все, что можно было вынести.

И вот в ходе своего первого грабежа Караваджо, разбираясь в финансовых делах грибного хозяйства, наткнулся на деньги в кассе. Никогда не воруй там, где ты спишь. Он предпринял все это расследование от скуки. Ему нужны были книги и мясо. Если ему придется здесь остаться на несколько дней, хорошо бы иметь при себе курятину и что-нибудь почитать. Караваджо зажег лампочку на шлеме и вошел в грибной дортуар, который выбрал для себя раньше. По всей длине помещения на разных уровнях тянулись стеллажи. На стеллажах стояли контейнеры с навозом и землей, в которых росли молодые грибы.

Теперь он оказался в темнице вместе с мил-

лионами из них. Он уютно устроился за низким стеллажом в дальнем конце помещения, рисунок Джеффри был при нем. Погасив лампочку на шлеме, Караваджо вдохнул густой грибной дух. Он не спал полтора дня, впервые усыпил хлороформом собаку, выпрыгнул из окна, гонялся за курицей…

Что-то легко коснулось его лица. Не открывая глаз, он отодвинулся назад. Он уже просыпался от отблесков света наверху, когда неясные фигуры склонялись над стеллажами, собирая грибы. Грибы находились на разных стадиях созревания, их разделяло несколько недель, поэтому какая-то из секций всегда годилась для сбора. Он вновь погружался в сон под шелест трущихся о стеллажи комбинезонов. Теперь же прикосновение ткани к лицу испугало его. Справа от него на одной ноге неуверенно стояла женщина и, опершись на оштукатуренную стену, надевала туфлю. Женщина была в комбинации, ее шлем со включенным фонарем покачивался на верхней полке, чтобы она могла видеть, что делает. Параллельно ее белым очертаниям двигалась темная тень.

Караваджо замер. Иссиня-черные волосы, худое лицо, она потянулась, чтобы снять блузку с крючка, теперь, надев обе туфли, она твердо стояла на ногах.

— Шшш…

Бросив строгий взгляд в темноту, она взяла шлем, направив луч света на полки.

— Анджелика? Это ты? — окликнула она.

Держа шлем в руке, она натянула юбку, немного постояла, потом надела шлем, застегнула пуговицы и принялась тихонько напевать. Надо было привлечь ее внимание, но так, чтобы она не испугалась. Он начал ей подпевать. Быстро направив луч света туда, где он лежал, она лягнула его в лицо. Он взвыл от боли, но тут же рассмеялся.

— Пожалуйста, завтра принеси мне что-нибудь поесть.
— *Perchè?*
— Я вор. Я сломал лодыжку.

Она наклонилась и протянула руку.

— *Tartufi?* Что ты воруешь, грибы?

Она дотронулась до его ноги, нащупала перевязанную лодыжку и поверила всему, поняв по его смеху, что он мягкий человек.

— Я сломал ее в миле или двух отсюда. Я очень голоден. Пожалуйста, принеси мне завтра курятины.

Он совсем не видел ее лица, только подол юбки у коленей, куда падал свет. Он мог судить о ней только по голосу, уверенному, смеющемуся вместе с ним.

— *Come si chiama?*
— Джанетта.
— А меня Караваджо.
— Вор.
— *Sicuro.*
— Я принесу тебе завтра поесть. И Библию.
— Покажи мне свое лицо.
— *Basta! Ha visto abbastanza.*

Она похлопала его по ноге.

— Тебе нужно что-нибудь еще?
— Узнай, что мне делать с лодыжкой.

Снова стало темно, и он затосковал по свету.

Тонкий луч ее нашлемного фонаря, изящный торс, когда она тянулась за блузкой, — ее тень

накрыла его память, и ему пришлось начать эту сцену с начала, крошечный фрагмент фильма, семь-восемь секунд, пока она не выключила лампу и не исчезла в темноте. Он повторял этот эпизод вновь и вновь, а потом вернулся к ее голосу. Странно, что больше всего на свете ему хотелось курятины. Очевидно, в памяти застряла неудачная охота во дворе через дорогу.

Она пришла на следующее утро и попросила его отвернуться, пока она переоденется. Она объяснила ему, что у каждой работницы есть свое помещение или угол, где она надевает и снимает комбинезон. Потом, развернув кусок ткани, она дала ему поесть. Курица, салат, молоко и банановый пирог. Это был худший банановый пирог в его жизни.

— *Devo partire. Ritomerò.*

Днем Джанетта и еще три работницы пришли на него взглянуть. Последовали ожидаемые шутки, но после долгого одиночества он был рад компании. Когда они ушли, громко переговариваясь, она поднесла палец к его губам. Потом вынула бинты и перевязала ему лодыжку.

— *Cosi va meglio.*
— Когда я смогу отсюда выбраться?
— Мы кое-что для тебя придумали.
— *Bene.* Покажи мне твое лицо.

Ее лампа осталась стоять у его ног. Тогда он взял свой шлем и направил луч света на нее. Она по-прежнему смотрела вниз. Он понял, что все еще держит ее за лодыжку, с тех пор как она, больно дернув, содрала с его ноги изоляционную ленту.

— Спасибо за помощь.
— Прости, что я сильно тебя лягнула.

На следующий день Джанетта, улыбаясь, присела рядом с ним на корточки.

— Тебе нужно сбрить усы. Здесь работают только женщины.
— *Mannaggia!*
— Тебя нужно вывести отсюда как женщину.

Вытянув руку, он погрузил пальцы в ее волосы, в их черноту.

— Джанетта.

— Убери руку.

Ее рука с опасной бритвой лежала у него на плече. Он не хотел ее отпускать.

Когда они склонились друг к другу, их лица оказались в темноте. Ее лампа светила у него за спиной. Он чувствовал запах ее кожи.

— Вот и наш первый поцелуй, — шепнула она.

Она протянула ему платье.

— *Non guardare.* Не смотри.

Он понял, что стоит ровно там, где несколько дней назад стояла она. Включив свою лампу так, чтобы она светила на нее, он стал снимать рубашку, остановился, но она продолжала на него смотреть. Он увидел свою тень на стене. Джанетта шагнула вперед, улыбаясь, помогая ему сохранить равновесие, пока он стоял на здоровой ноге.

— Сейчас я покажу тебе, как надевать платье. Сначала расстегни вот это.

Она прикрыла тканью его наготу.

— Ах, Караваджо, расскажем ли мы нашим детям, как встретились?

* * *

На этот раз он не воспользовался каноэ. Перед тем как спустились сумерки, он прошелся по берегу, остерегаясь трясины. Теперь же, одевшись в темное, он направлялся к участку женщины с каноэ — основное здание, несколько отдельных коттеджей, эллинг и ледник. Он понятия не имел, как называется озеро. Когда он бежал, то видел щит с названием этого места: Физерстоун-Пойнт. Именно тогда он заметил телефонные провода, протянутые от ее участка.

Он вышел из-под деревьев на открытое пространство, вокруг было темно, как будто хозяева сложили вещи и уехали. Он ожидал увидеть прямоугольники света. Теперь, потеряв перспективу, он не знал, под каким углом свернуть, чтобы вернуться в свой коттедж. Ему были нужны следы человеческого присутствия. Собака на цепи, свет в окне, какой-то звук. Он повернул еще раз и увидел на озере лунный свет. Но в небе не было луны. Он понял, что это, вероятно, свет из эллинга. Ландшафт, план участка ожили в его памяти. Он направился к воде, зная, где находятся

низкие кусты, каменная ограда, подстриженные деревья, которых ему не было видно. Он осторожно вошел в эллинг и стал прислушиваться. Тишина. Ухватившись за цепь от лебедки, на которой поднимали лодочные моторы, он влез на первую крышу, которая, подобно юбке, шла вокруг верхней части здания. Потом прошел по скату. В комнате за столом сидела женщина по имени Энн.

Свет керосиновой лампы. Женщина сидела лицом к воде, своему ночному окну, и писала, склонившись над столом, не замечая ничего вокруг. Летняя юбка, старая мужнина рубашка с закатанными рукавами. Подняв глаза от страницы, она с отсутствующим видом глядела на керосин в лампе. Прежде Караваджо никогда не видел пишущего человека. Она положила авторучку, потом снова взяла, попробовала что-то написать и, заметив, что кончик пера пересох, протерла подолом рубахи высохшие чернила и желобок, как будто задержка была вызвана не ее нерешительностью, а неисправностью ручки. Потом прилежно склонилась над столом, слегка улыбаясь и высунув кончик языка.

Повернись она вправо — увидела бы в одном из маленьких стеклянных окошек его голову: туда

доходил свет керосиновой лампы. Подумав об этой возможности, он быстро отпрянул назад. Он вспомнил все библиотеки, в которые заходил в домах Торонто, выстроившиеся вдоль стен книжные полки до потолка, фолианты в переплете из свиной или какой-нибудь другой кожи, за которые он хватался, взбираясь вверх по полкам в поисках спрятанных там, по его мнению, ценностей, раздвигая книги ногами, чтобы всунуть носок ботинка. И, забравшись под самый потолок, глядя вниз на прямоугольник комнаты, замирал на месте, услышав звонкий предупреждающий лай своей собаки. Внизу открывалась дверь, и входил мужчина, чтобы снять телефонную трубку и набрать номер, и Караваджо, застывший в темных брюках и майке, как горгулья, среди книг Троллопа и Герберта Уэллса, понимал, что, как только его заметят, ему придется перейти к действиям. Он мог бы приземлиться на кожаный диван, врезавшись в тело мужчины, прежде чем тот успеет сказать по телефону хоть слово. Потом выпрыгнуть в закрытую дверь, разбив стекло и хрупкую древесину, броситься, не глядя, с балкона в сад, отругать собаку за запоздалое предупреждение и убежать.

Но в этом эллинге не было никакой роскоши.

Босые скрещенные ноги женщины касались крашеного деревянного пола. На столе лампа, на полу матрас. В свете этой лампы, в окружении маленьких стеклянных окошек она находилась как бы внутри бриллианта, словно бабочка в опасной близости от керосинового пламени, попавшая в ловушку всех этих граней. Он понимал, что видит что-то очень сокровенное, что даже муж не мог бы быть к ней ближе, чем он, вор, наблюдающий за тем, как богатая женщина пытается понять, кто она такая или на что способна.

Подняв руки к лицу, он вдохнул их запах. Смазочное масло и ржавчина. Запах цепи. Воры всегда пахнут тем, чего касаются. Краской, грибами, печатными машинками, но никогда не пахнут богатством. Ему нравились люди, пахнущие своей профессией: плотники, режущие кедр, ловцы собак, хранящие запах мокрых вырывающихся гончих. А чем пахла эта женщина? За полночь, в этой желтой сосновой комнате, она смотрела в резервуар керосиновой лампы, словно сквозь череп своего возлюбленного.

Ему, человеку, старавшемуся стать незаметным, никогда не удавалось достигнуть такой неподвижности. Стоя снаружи на крыше, он мелькнул, словно тень медведя в ее подсознании,

а она шла к другой тайне, ее собственной, выводя на странице черные мокрые знаки. Дома в Торонто, которые он помогал строить или красить, дома, которые он грабил, не были помечены. Он никогда не оставлял своего имени там, где применял свое мастерство. Он был одним из тех, чью ярость или печаль всегда описывают другие. Гудронщик, строитель, маляр и вор — он оставался невидимкой для всех.

Он спрыгнул в темноте на мокрую траву и зашагал к главному зданию. Не включая света, нашел телефон на кухне и позвонил жене в Торонто.

— Ну вот, я сбежал.

— *Lo so.*

— Откуда ты знаешь?

— Здесь была полиция. *Scomparso.* Они сказали, что ты не сбежал, а исчез.

— Когда они приходили?

— На прошлой неделе. Дня через два после того, как ты сбежал.

— Как Август?

— Он со мной. Скучает по ночным прогулкам.

Она начала рассказывать о доме своего шурина,

у которого сейчас жила. Ее голос звучал сквозь темноту, превратившуюся в расстояние.

— Я вернусь когда смогу, Джанетта.

— Будь осторожен.

Когда он отошел от телефона, женщина стояла в темноте посреди гостиной. Его слух был сфокусирован на голосе Джанетты и ни на чем другом. Мысленно он представлял ее себе: алебастровое лицо, иссиня-черные волосы.

— *Non riuscivo a trovarti.*

— Говорите по-английски.

— Я не мог вас найти, чтобы спросить.

— Вы нашли коттедж, нашли телефон, могли бы найти и меня.

— Мог бы. Это привычка… Обычно я не спрашиваю.

— Я зажгу свет.

— Да, так всегда безопаснее.

Приподняв ламповое стекло, она поднесла спичку к фитилю. Из темноты выступили ее юбка, рубашка и рыжие волосы. Она отодвинулась от света к спинке дивана.

— Куда вы звонили?
— В Торонто. Жене.
— Понятно.
— Я заплачу.

Она жестом отвергла его предложение.

— Это рубашка вашего мужа?
— Нет. Хотя рубашки моего мужа здесь. Хотите их забрать?

Он покачал головой, оглядывая комнату. Камин, прямая лестница, спальни наверху.

— Что вы хотите? Вы ведь вор, это правда?
— В загородных домах все, что можно украсть, — это пространство или люди. Мне был нужен ваш телефон.
— Я собираюсь перекусить. Хотите поесть?
— Спасибо.

Он последовал за ней на кухню, чувствуя себя легко — как будто продолжал разговор с Джанеттой.

— Скажите мне…

— Дэвид.

— Дэвид, отчего я вас не боюсь?

— Оттого что вы пришли сюда из того места… где вы что-то поняли. Или вы по-прежнему там.

— Что вы имеете в виду?

— Я был на крыше эллинга. Я вас нашел.

— Я думала, это бродит медведь.

Она сидит напротив, смеясь над историей его побега, не веря до конца. Как будто это сказка. Прикрыв ладонью стекло, она задувает лампу. Два часа ночи. Когда они погружаются в темноту, он воскрешает в памяти ее изящную фигуру, гладкую кожу, яркие, ниспадающие на спину волосы. Пронзительные цвета ее странной красоты.

— Мне больше не хочется света, — говорит она.

— Да, ведь сейчас ночь. Впустим темноту.

— Однажды мне пришлось лежать в темной комнате… у меня была корь.

Она ясно выговаривает слова, голос кристально

чист. Он слушает ее, закрыв глаза.

— Я была маленькой. Мой дядя — известный врач — пришел меня навестить. Все шторы в комнате были опущены, свет приглушен. Мне было нечем заняться. Читать мне запретили. Он сказал: «Я принес тебе сережки. Это необыкновенные сережки». И вытащил вишни. Две ягоды на сросшихся стебельках, повесил мне на ухо, вытащил другую пару и повесил на другое ухо. Я радовалась им несколько дней. Ночью, укладываясь спать, я снимала их и клала на тумбочку.

— У вас есть дети?

— Сын. Он приедет сюда вместе с мужем через день-другой. У меня есть брат, который молчит. Это его рубашка. Он молчит уже несколько лет.

Караваджо лежит на ковре. Раньше, когда здесь горел свет, он разглядывал шпунты и пазы, прикидывая, как разобрать такой пол. Она продолжает:

— Через несколько дней на озеро съедутся мужья. Странный обычай. По-

следние три недели я была здесь очень счастлива. Прислушайтесь… ни звука. В эллинге всегда слышен шум озера. Когда на озере штиль и оно молчит, я чувствую себя осиротевшей.

В комнате тихо. Он встает.

— Я пойду.

— Можете переночевать на диване.

— Нет. Я пойду.

— Можете остаться здесь. Я поднимусь в спальню.

— Я вор, Энн, *un ladro.*

— Да. Вы сбежали из тюрьмы.

Он ясно видит ее по другую сторону потушенной лампы, ее подбородок на стиснутом кулаке.

— Я буквально влюбилась в озеро. Я страшусь дня, когда мне придется его покинуть. Сегодня ночью впервые за много лет я написала первое любовное стихотворение, моим возлюбленным был шум озерной воды.

— Я всегда испытывал страх перед водяными существами.

— Но вода благодатна…
— Да, знаю. Прощайте, Энн.

* * *

После женитьбы на Джанетте Караваджо, прежде чем стать успешным вором, пришлось столкнуться с неожиданной проблемой — его внезапно поразила неуверенность. Он залезал в дома, и ему начинало казаться, что он стал жертвой заговора и его ждет западня. Джанетта не могла этого терпеть. Она не желала жить с искусным вором, который боится идти на дело.

— Возьми себе напарника!
— Ты прекрасно знаешь, что я ни с кем не могу работать!
— Тогда заведи собаку!

Он украл темно-рыжего фокстерьера и назвал его Августом. Это случилось летом. Пес стал его спасением. Он издавал короткий лай, похожий на восклицание, один-единственный сигнал — хочешь, принимай его в расчет, хочешь — нет, — достаточное предостережение хозяину со стороны собаки.

Отправляясь на дело, они вели себя как чужие

— Караваджо шел по одной стороне улицы, Август бесцельно плелся по другой. Когда Караваджо входил в дом, пес усаживался на газоне. Если хозяева появлялись слишком рано, пес вскакивал и издавал короткий звонкий лай. Через несколько секунд из окна выпрыгивала фигура с ковром или чемоданом в руках.

* * *

Он наливает в высокий стакан молоко и пьет, разгуливая по дому шурина. Жаркой торонтской ночью его наполняет прохлада молока. Он сидит на лестнице, глядя на дверь. Слышит с улицы короткий звонкий лай и ее смех.

В темном холле белизна молока исчезает в его теле. Ее плечи уютно угнездились в его руках. Чужой дом. Он прикасается к ней, на его коже влага с ее губ, его руки в ее темных волосах. Она устроилась в тени его плеча.

Она входит в полуосвещенную кухню, и ее обнаженные руки вбирают в себя свет. Блестят сережки. Снимая одну, она роняет ее на пол. Ее руки поднимаются к другому уху — расстегивая второй золотой замочек. Она смеется. Он ловит губами ее грудь.

По полу рассыпаются жемчужины из порван-

ного ожерелья. От ее волос исходит запах мыла. Ее ладонь скользит по его влажной руке. Ее щека на теплом кафеле. Другая рука, откинувшись в сторону, касается упавшей сережки.

Джанетта дотрагивается до шрама у него на шее. Нежно его целует. Он несет ее на руках, по-прежнему оставаясь внутри, поддерживая ее за ноги, ее глаза широко открыты, когда она задевает локтем угловой шкафчик, посуда у нее за спиной с грохотом валится с полок. Голубые тарелки, подпрыгнув, протекают сквозь стеклянные полки, как вода, и вдребезги разбиваются о пол.

При каждом шаге ее босые ноги ступают на жемчужину или осколок тарелки. Он открывает дверцу холодильника. В его свете она подтягивает ногу к животу, изучает содержимое полок и что-то достает. Караваджо ложится на спину, а она, усевшись на него верхом, потягивает холодное вино. Он чертит дорожку у нее на теле со скоростью, с какой, на его взгляд, стекает жидкость.

Ее подбородок на его колене. Ступня, лежащая у него на плече, оставляет за собой полоску крови. Когда она широко открывает глаза, он видит вокруг стекло и фаянс, и тонкие фарфоровые тарелки, которые валятся одна за другой с полки

на полку, их голубые и красные оттенки сливаются и исчезают, ее пальцы у него на шраме, ее пальцы на пульсирующей вене у него на лбу. Она, любительница посмеяться, смеется, когда они занимаются любовью, серьезность канатоходца ей чужда.

Когда они останавливаются, ее низкий смех стихает.

Его дыхание сейчас похоже на шепот, похоже на слова. Она стряхивает жемчужину, прилипшую к коже. По дому расхаживает скрипка, усыпанная звездами. Свет из холодильника, свет над раковиной, свет с улицы. Она освежает лицо и плечи под краном. Ложится рядом с ним. Вкус друг друга. Смешение мышц и вкусовых оттенков. Она втирает его семя в его влажные волосы. Ее плечи бьются об усыпанный голубыми осколками шкаф. Над кухней надругались. Сексуальная перестановка мебели. Джанетта отодвигается в сторону.

От него исходит запах зверя, вернувшегося из пустыни домой, в оазис. Ее волосы чернеют на кафельном полу, словно омут. Забытая ею сережка врезается в его кожу, оставляя на руке кровавую татуировку.

В потайных ящичках комодов в ее новой

спальне хранятся драгоценности любого цвета, которые он для нее украл. Их можно найти, сняв заднюю стенку комода. Фотографии ее родственников в старинных серебряных рамках. Часы под стеклянным колпаком, поворачивающие свой золотой живот из стороны в сторону. Свадебное кольцо, которое он стягивает с ее пальца зубами.

С нее нечего снять. Кроме комбинации, которую она сбрасывает, как кожу. На нем нет ничего, кроме вонзившейся в руку сережки, кровавого отпечатка ступни на плече и капли влаги с ее губ.

Последняя тарелка падает на нижнюю полку. Он ждет, когда она откроет глаза. Потом приходит первый поцелуй.

Когда она входит в темный холл, то видит только белизну молока, священный камень в его руках, исчезающий в его теле.

Подняв жену, он сажает ее себе на плечи так, что она может дотянуться до люстры.

Морской театр

~~~

В 1938-м, когда Патрик Льюис вышел из тюрьмы, люди по всей Северной Америке собирались в больших темных залах, чтобы посмотреть на Грету Гарбо в роли Анны Карениной. Все пробовали играть на органе Хаммонда. «Красные бригады» перехватывали почту, для разгона политических митингов применялся слезоточивый газ. Из страны было выслано около десяти тысяч иностранных рабочих. Повсюду пели «Just One of Those Things» — «Вот такая штука». На Нижней Замбези был возведен самый длинный в мире мост, а строительство гигантской водоочистной станции в восточной части Торонто близилось к концу.

Каждый день в парке Кью белая лошадь ныряла с большой высоты в озеро Онтарио. В Англии состоялась премьера «Убийства в соборе» Т. С. Элиота, а несколькими неделями позже доктор Карл Вайсс — всегда восхищавшийся поэзией американца-экспатрианта — застрелил Хьюи Лонга в законодательном собрании Луизианы.
~~~

Вот такая штука.

В январе Патрик вышел из тюрьмы, сел в Кингстоне на поезд и оказался на вокзале Юнион в Торонто. В журнальных киосках продавались «Таинственные истории», «Шайка с десятого этажа», «Щелчок», «Лучшие шутки судьи Шиэрда» и «Лук». Патрик уселся на гладкую бетонную скамью напротив пандуса, ведущего к воротам. В этом здании, похожем на собор, разворачивались многие события его жизни. В двадцать один год он прибыл в этот город. Здесь он наблюдал за тем, как Клара покидает его, удаляясь за надпись слева от пандуса, на которой значилось: ГОРИЗОНТ. «Посмотри наверх, — сказала Клара, бросая его ради Эмброуза, — знаешь, что это за камень?» Он был подавлен происходящим и не ответил. «Это гранит из Миссури. Запомни. А на полу мрамор из Теннесси». Он поднял глаза. Теперь, сидя на скамье, Патрик внезапно забыл, который сейчас год.

Он легко вызвал в памяти лицо Клары, словно это было задорно улыбавшееся лицо с рекламного плаката, предлагавшего прохожим купить шляпу. Но изменчивое лицо Элис он не мог себе ясно представить. Неподалеку стояла группа носильщиков с тремя большими клетками, в которых

надрывно лаяли собаки, — как аристократы, протестующие против незаконного задержания. Он направился к клеткам. Собак беспокоил шум. И он возвращался оттуда, где единственной формой протеста был стук оловянной кружкой по стене камеры. Он приблизился, заглянул в ничего не видящие глаза, — таким же было его лицо в тюрьме, в металлическом зеркале.

Он все еще сидел на корточках, когда носильщики покатили клетки вниз по пандусу. Коленопреклоненный на вокзале Юнион. Он чувствовал себя тяжелым свинцовым шаром, висящим в центре огромной ротонды, средоточием всего здания. Внезапно картина перед его глазами начала меняться. Он повернул голову налево, направо и еще раз налево, открывая горизонт.

Патрик неуверенно брел по городу, останавливаясь перед незнакомцами, рассматривая новую моду. Он ощущал себя невидимкой. На улицах за вокзалом Юнион лежали глубокие сугробы. Он двигался к востоку, по Истерн-авеню, пока не оказался у пекарни «Герань». В теплом просторном помещении, где сквозь мучную пыль пробивались лучи зимнего солнца, он миновал сверкавшие чистотой машины, разыскивая Николаса. Плывшие на движущейся ленте булочки

ныряли в конце пути в озерцо кипящего масла. Наконец Патрик увидел его в костюме, покрытом белой пылью, в другом конце пекарни, распоряжавшимся движением всей этой снеди. Николас Темелков подошел к нему и обнял. Медвежьей хваткой. Хваткой жизни.

— С возвращением, мой друг.
— Она здесь?

Николас кивнул.

— Она собрала свои вещи.

Патрик сел в грузовой лифт, потянул за веревку и оказался у квартиры Николаса на втором этаже. Вошел туда и постучал в дверь маленькой комнаты.

Хана сидела на кровати, сложив руки на коленях, и смотрела в пол. Она медленно подняла глаза, как Элис, — глаза приходили в движение первыми. Она была так похожа на Элис, что ему стало страшно. Он отвернулся и стал оглядывать аккуратную комнату, собранный чемодан, лампу рядом с кроватью.

Она смотрела на него, понимая, что скрывается за этим взглядом. Патрик прислонился щекой к

дверному проему, воротник новой куртки плотно охватывал шею. Пять лет назад, перед тем как он отправился в «Маскоку», они зашли в пекарню «Герань». И Николас обещал присмотреть за Ханой. Пригласил пожить в его семье. Он сделал это как бы между прочим, не колеблясь, сидя у себя в конторе под часами, которые так нравились Хане, — каждый час на циферблате был представлен особым видом пончиков. «Некоторое время, — сказал Патрик, — каждый из нас будет жить самостоятельно». — «Я знаю», — ответила она. Ей было одиннадцать.

Хана поднялась с кровати.

— Эй, Патрик, посмотри, как я выросла!

Она подошла к нему и тихо обняла — руки сомкнуты у него за спиной, голова достает ему до подбородка.

В балканском кафе они сели за столик и заказали *суджук,* свиную колбасу с пореем и чесноком, которой он так давно не ел.

— Ты здоров?
— Да. Как лошадь.
— Это хорошо.
— Хотя мне надо будет привыкать к

нормальной жизни.

— Все в порядке, Патрик… Не страшно, что ты был в тюрьме. Но об этом лучше не вспоминать.

— Ты права.

Ему нравится с ней шутить, узнавать, что она думает о жизни. В тюрьме, думая о том, как он выйдет на свободу, он представлял себя одиноким. Ничего не иметь, ничего не терять. Он наслаждался этим образом, проводя ночи без сна, наблюдая за другими заключенными, ворочавшимися в своих камерах, словно большие серые рыбы. В тюрьме он защищался молчанием — как будто любая фраза представляла для него опасность, как будто одно-единственное слово могло положить начало исчезновению Элис из его тела. Замкнутость давала ему силы. Отказываясь от общения, он был способен удержать ее в себе, в своих руках. Но в ночь нападения на Караваджо нехитрая песенка его отца сорвалась с его губ как предупреждение. И Патрик отступил от своего зарока.

— Ты подружился с кем-нибудь в тюрьме?

— Да, с одним человеком. Он сбежал.

— Как жаль! А что *он* сделал?

— Он вор. В тюрьме ему хотели перерезать горло.

— Тогда хорошо, что он сбежал.

— Он был очень умным.

~~~

Миллионер Эмброуз Смолл никогда не позволял пересекаться разным сферам своей жизни, возведя между ними высокие стены. Любовницы, соотечественники, бизнесмены ничего не знали друг о друге. И потому полагали, что у них нет конкурентов или что те живут в других странах.

Приехав к Эмброузу Смоллу после того, как он исчез из мира финансов, Клара Диккенс полагала, что сумеет его узнать. Но за несколько лет совместной жизни она узнала только то, что он ей позволил. Теперь же она находилась слишком близко к нему — к его новым ежедневным требованиям, редким всплескам обаяния. Ей хотелось хоть раз подняться на разделявшую их стену и увидеть оттуда соединявший их горизонт.

Но то, что в конце концов ей открылось, после того как он осел на пол в опустевшей комнате в Марморе — там были только Клара, стены, дере-
~~~

вянный пол и голые окна, так что он ночью спал словно в гробу из лунного света, — оказалось гораздо хуже.

За несколько дней до смерти сознание Смолла освободилось от внутренних перегородок, как будто то, что разделяло разные миры, выдернули из него, словно спинной хребет. Пока он что-то говорил и бормотал Кларе, события сталкивались друг с другом — ночь с любовницей, переговоры в Гранд-опера-хаус. Незнакомцы и мертвецы из его прошлого прибывали в эту пустую комнату, освещенную единственной горевшей даже днем лампой, их тени появлялись и исчезали, подобно переливам лунного света.

Слова слетали с его губ, ужасая ее изощренностью познания — множества женщин, глубин финансового моря. Она услыхала от него несколько различных описаний самой себя, много лет остававшихся невысказанными, узнала о его привязанностях и страстях, о раздражении и неудачах, о благоговении перед ее тонким чувством цвета, о том, как несколько лет назад она, стоя в холле, понюхала свои подмышки, думая, что ее никто не видит.

Клара сидела на полу, пригнувшись, так что Эмброуз не мог ее видеть. Он застыл в позе лотоса,

с обнаженной грудью, руки двигались по лицу, сладострастно потирая лоб, словно открывая свои отражения, его голос стихал, когда пальцы нащупывали правое ухо. Потом он наклонился вперед, так что его голова могла коснуться пола в глубоком, претендующем на изящество поклоне, поклоне аскета. Цапля, опустившая голову под воду, глаза открыты в холодном потоке, высматривая рыбу, которую она затем подбросит в воздух и поймает в голубой туннель глотки.

Клара сидела на полу в десяти футах от Эмброуза, рядом с лампой, под обстрелом разрозненных эпизодов его прошлого. Кем были эти женщины? Куда исчезли поверженные враги? Эмброуз говорил медленно, слова бесстрастно изливались из его темной полуобнаженной фигуры, как будто он просто-напросто опорожнял бочонки, избавляясь от балласта. Наружу выплескивались театры, жена, сестры, женщины, враги, Бриффа и даже Патрик.

Единственной очевидностью для него была эта голая комната, куда Клара приносила ему пищу. Он подвергся сжатию, превратился в готического ребенка, внезапно переполненного речью, которая никуда не стремилась, только прочь из его тела. Плоть со следами укусов, маникюр,

борзые, секс, коды сейфов, самоубийства. Она увидела этот мир, как если бы была привязана к мчавшейся галопом лошади, — мелькали лица, слышались обрывки разговоров, но горизонта не было. После всех этих лет она не получила вознаграждения, не ощутила его. Она отступила.

Теперь его лицо спокойно. Теперь атлетическая верхняя половина его туловища наклонилась далеко вперед, рот цапли коснулся голубого деревянного пола, а голова, погрузившись под воду, повернулась и увидела в меркнущем свете лампу, оказавшуюся луной.

~~~

Он спал на стуле в кухне, в квартире на Олбани-стрит, а девочка вдруг принялась его трясти. На столе были разбросаны остатки лобстера.

— Патрик! Патрик! Вставай!

— Что….

— Это срочно. Не понимаю, как я могла забыть, но забыла. Пожалуйста, Патрик, проснись. Она ждет. Не понимаю, как я могла забыть.

— В чем дело?
~~~

— Звонит какая-то женщина, Клара Диккенс. Она ждет у телефона.

— Что случилось? Где я?

— Это важно, Патрик.

— Ну конечно важно.

— Ты можешь подойти к телефону?

— Да. А ты иди спать.

Он подставил лицо под кран. Клара Диккенс. После стольких лет.

Он постоял, глубоко дыша. Прошел в темную комнату, не вытерев лица, и опустился на колени. Одна рука была в гипсе, другой он пытался нащупать телефон.

— Не вешай трубку, не вешай трубку! — кричал он, ища телефон, надеясь, что она его услышит.

— Это Патрик.

— Я знаю, кто это.

На другом конце провода раздался ее смешок.

— А кто снял трубку?

— Подруга. Ты никогда ее не видела.

— Это хорошо.

— Ей шестнадцать, Клара. Я пригляды-

ваю за ней.

— Я в Марморе. Может, ты приедешь и заберешь меня? Эмброуз умер.

Патрик лежал на спине в темной комнате и молчал. Свет был ему не нужен. Он хорошо знал эту комнату. Он часто здесь бывал.

— Нужно ехать по трассе номер семь… Ты меня слышишь? Мне нужна помощь, Патрик.

Он разглядел завитушки на потолке.

— Я был в Марморе?

— Это в четырех часах езды от Торонто. Ее считают столицей собачьих упряжек штата Онтарио. Я звоню из ресторана. Я сижу здесь четыре часа.

— Четыре часа! А который нынче год?

— Не будь циничным, Патрик. Не сейчас, ладно?

— Опиши мне место, где ты находишься. Я просто хочу слышать твой голос.

— Я сидела снаружи, рядом с одним из тех искусственных черных рыбаков, которых сейчас понаставили во всех

местах. Было чертовски холодно. Я позвонила около десяти. Потом ждала твоего звонка.

— Она забыла. Обрадовалась, что я принес лобстера. И вдруг, черт возьми, появляется *dues ex machina.* Звонишь ты. Что, Эмброуза застрелили серебряной пулей?

— Он умер от естественных причин.

— Угодил под собачью упряжку?

Не в силах сдержать смех, он отвернулся от телефона. Из трубки доносился ее далекий голос, в нем слышались металлические нотки.

— Прости, — извинился он.

— Да нет, наверное, это смешно. Хочешь услышать еще что-нибудь?

— Да.

— Я довольно внимательно прочла «Мармора геральд».

— У тебя не было с собой книги?

— Нет, не было. Я забыла, что ты учил меня всегда иметь при себе книгу. Что ты делаешь?

— Лежу в темноте. Я приеду и заберу тебя, Клара.

— А ты сможешь? Девочка сказала, у тебя сломана рука.

— Я возьму ее с собой. Она не даст мне уснуть. Она очень серьезно относится к таким вещам.

— Тебе всегда нравились такие женщины.

— Это правда. Она спасла мне жизнь.

— Ты ее отец, Патрик?

— Как называется твой ресторан?

— «Сердце Марморы».

— Дай нам пять часов или около того. Мне нужно немного отдохнуть… погоди. Ты меня слушаешь?

— Да.

— Я ее отец.

Он встал и прошел в комнату Ханы. Он чувствовал, что предельно измотан.

— Кто она такая, Патрик?

— Хана, мне нужно, чтобы ты поехала со мной, повела машину до Марморы.

— Столицы собачьих упряжек штата Онтарио?

— Что?.. Что ты сказала?!

Хана сияла.

— Это она сказала, Патрик, когда я спросила, откуда она звонит. Мы поедем туда, чтобы ее забрать?

— Да.

Она стояла у двери и смотрела на него, ей хотелось услышать что-нибудь еще.

— Какого черта она там оказалась…

— Она сбежала от тебя?

— Наверно, так… Во всяком случае, уехала с другим мужчиной. Но сначала мне нужно немного поспать. Разбуди меня минут через сорок.

— Хорошо. Ты расскажешь мне про нее по дороге?

— Да.

— Вот здорово!

~~~

Когда полгода назад Патрик вышел из тюрьмы, в городе уже заявляли о себе многие группы недовольных. События в Испании, государственное
~~~

преследование профсоюзов заставили богатых и сильных сплотить свои ряды. Повсюду были войска. Когда последняя смена рабочих покинула водоочистную станцию, полиция и армия заняли помещение и взяли его под охрану. Среди холмов появились военные палатки. На крышах расположились солдаты, а по волнам озера то и дело скользили лучи прожекторов, чтобы предотвратить любое нападение с берега. Почти все общественные здания охранялись, но водоочистная станция находилась под неусыпным наблюдением — отчасти из-за предостережений начальника строительства Харриса, напомнившего официальным лицам, что готы захватили Рим, разрушив ведущие в город акведуки. Город можно поставить на колени, отравив или заблокировав источники водоснабжения.

Харрис представлял себе новое здание в виде человеческого тела. Серьезный ущерб ему можно было нанести в шести местах: там, где насосы забирают воду из озера, в расходомерах Вентури, там, где в воду добавляют хлорное железо, в водоотстойниках глубиной двадцать четыре фута, а также в любом из двадцати фильтровальных резервуаров, взрыв которых может вызвать затопление и стойкую коррозию всех моторов и

электрического оборудования. Еще была труба для забора воды из озера длиной почти полторы мили. Судам запрещалось подходить к ней ближе чем на полмили, и ночью в здание не допускался никто, даже военный персонал. Находиться там разрешалось только Харрису, добившемуся права спать у себя в офисе — с пистолетом возле кровати.

В два часа ночи, в халате, начальник строительства Харрис был счастлив находиться в коконе гудящих машин. Он поднимался и бродил по водному дворцу, о котором давно мечтал и который наконец построил. Сверкающие электрические лампы освещали уходившие вдаль коридоры, подобно венским улицам, превращая подземные фильтровальные резервуары в туманные бальные залы. На восточной оконечности города, на берегу озера Онтарио, в здании всю ночь пульсировала жизнь. Говорили, что люди на южном берегу штата Нью-Йорк могли видеть исходящее от станции свечение.

Субботней ночью летом 1938 года фильтровальная станция составляла одну из вершин треугольника огней на карте города. К другой вершине, к северу от озера, вела светящейся рекой Янг-стрит. На третьей сияли огни яхт-клуба на

Торонто-Айленде — там давали летний костюмированный бал, и водные такси перевозили через пролив публику в эксцентричных нарядах — путешествие по воде протяженностью в милю.

На таких вот танцевальных площадках богачи проводили свои вечера! Расхаживая с важным видом, словно жеребята в теплой, сухой конюшне. А на следующее утро в постели они вспоминали хореографию соблазнов, увлекших их с запруженной народом периферии холла на паркет под тридцатифутовыми кокосовыми пальмами, — создавалось впечатление, что вместо потолка там лишь фальшивая луна с фальшивыми звездами. На каждой группе деревьев сидела на тонкой цепочке — чтобы не дотянуться до гостей — живая обезьяна. Животным приходилось увертываться от летящих в них пробок шампанского — поразившему цель дарили новую бутылку. Продажа шампанского стремительно росла, но лишь изредка за пронзительным визгом обезьяны следовали крики одобрения.

Над оркестром был раскинут шелковый шатер, по стенам висели диорамы. Время от времени гостям раздавали ватные снежки, и тогда под пальмами немедленно разгоралась битва: их швыряли в зал, предварительно окунув в шам-

панское или в соус. В бальном зале не было прямого освещения; создавалось впечатление, что все оказались в оазисе за полчаса до восхода солнца.

Среди богатой публики мелькает фигура Караваджо, элегантного, наглого и уверенного в себе, — этот образ Патрик запомнит навсегда. Пробор в его темных волосах сверкает, как Янгстрит в полночь. Этой летней ночью он в костюме пирата спрыгнул с моторной лодки вместе со своей собакой, Джанеттой и Патриком, прокричал приветствия абсолютно незнакомым людям и направился к искусственному лунному свету в бальном зале, утверждая, что он Рандолф Фрог. Женщины из общества приняли это имя как должное — богачам, которые способны менять все, кроме имени и внешности, следовало бы тщательнее оберегать эти признаки. В их кругу человек с лицом питбуля признается образцом изысканности.

Их не было в списке приглашенных. Левой рукой Караваджо отправлял в рот канапе, а правой хлопал женщин по заднице. Когда пары стали танцевать под звуки оркестра, Караваджо подхватил собаку на руки и принялся вальсировать между ними, покрывая Августа страстными

поцелуями и восхваляя красоту его родинок. Следующий час он танцевал с женщинами, отмечавшими про себя, что от него пахнет псиной. Тем временем Патрик с Джанеттой робко стояли у стены, словно опасались прямиком угодить в змеиное гнездо. Но Караваджо много лет бродил по садам и виллам богачей. Он подталкивал присутствующих локтем, шутил, обсуждал фарфор и хрусталь с женщинами и понимающими людьми, жаловался на то, что отдал почистить свои кресла в стиле Людовика XIV, но, протрезвев, не мог припомнить, куда и кому.

В конце концов он нашел супружескую пару, какую искал. Игривая жена и задиристый муж, слегка за сорок, крепко пьющие. Он танцевал с ней, не сводя с нее глаз и напевая «Ночь и день».

Vicina o lontana da me
non importa mia cara, dove sei…

Итальянский язык, который он якобы выучил в Тоскане прошлым летом, произвел на нее впечатление. Его пальцы поглаживали ее лопатку.

— Видите, как там, под люстрой, мой муж соблазняет девицу? Наверняка он предлагает ей покататься на яхте.

— У вас здесь яхта?
— Да, мы на ней приплыли. А вы?
— Нет. Я никогда не управляю яхтой.
— Мы возьмем вас на борт.

Он улыбнулся, бросив недокуренную сигарету на пол.

— Со мной моя скромница-сестра.

Женщина бросила взгляд через зал на растерянную Джанетту, державшую за руку Патрика.

— Пожалуй, она может присоединиться к нам.

Несколькими часами раньше, садясь в автобус, направлявшийся к пристани, Караваджо сказал: «Позвольте мне рассказать о богачах — они смеются не так, как мы с вами». И Патрик подумал: «Так говорила Элис. Точь в точь». — «Единственная вещь, которая привязывает богача к земле, — это собственность, — продолжал Караваджо, — их бюро, их мраморные столы, их драгоценности...» Патрик хранил молчание, он даже не засмеялся.

Он помнил, как Караваджо махал им на про-

щание голубой рукой, повиснув на тюремной крыше. А когда Патрик вышел из тюрьмы, он отыскал следы вора через своих соотечественников в «Голубом подвале». «Мистер Преднамеренное Уничтожение Собственности спас мне жизнь», — объяснил Караваджо Джанетте. Они показали ему город, где все стало старше на пять лет, и сделались его друзьями. Весенними вечерами они допоздна рассказывали друг другу о своей жизни.

За неделю до танцев в яхт-клубе они проводили разведку местности, и Джанетта видела, как Патрик напился. Когда они возвращались назад на пароме, голова Патрика лежала на коленях у Джанетты. Она склонилась над ним в темноте, коснулась его волос рукой. Он поднял глаза. На небосклоне ее доброго лица светилась нежность, которой он не замечал прежде. Затем перед глазами все поплыло, и Джанетта с Караваджо, стащив его с парома, отвели к себе и уложили спать на полу в гостиной.

После костюмированного бала они оказались на пристани: Караваджо, двое его богатых друзей, его собака, его «сестра» и Патрик, якобы сопровождавший ее в тот вечер.

…notte e giorno
Questo… mmm…
mi segue ovunque io vada, —

поет Караваджо в ночи, бутылка в его пальцах раскачивается, как маятник, рука на плече у женщины. Он произносит монологи о разбитом стекле и кривых зеркалах и потирает ее сосок в такт пению, пока ее муж отвязывает лодку от причала. Патрик шествует сзади, с ног до головы в черном, словно вор, за спиной развевается красный шарф, в руках ящик с инструментами, на котором написано «ДОБЫЧА».

Оказавшись на борту яхты «Аннализа», Караваджо со смехом устремляется вниз за алкоголем. Он едва стоит на ногах. Он и муж, откупорив несколько бутылок, поднимаются на палубу. Жена заводит граммофон, колышется ее шелковое платье с блестками. Джанетта перегибается через перила, вдыхая свежий воздух, пока муж поднимает паруса и они выходят в залив, — направляясь от острова к городу. Банни Бериган пронзает воздух своей трубой, вихрь звуков взмывает все выше, оставляя позади оркестры яхт-клуба. Они покинули остров. Богачи.

Караваджо заявляет, что не умеет управляться

со снастями, и приглашает чужую жену потанцевать. Он очарован ее дерзкой сексуальностью. Они то и дело неловко валятся друг на друга в такт движению волн. Джанетта с Патриком где-то на носу. Яхта лавирует в миле от города. Караваджо, муж и жена непрерывно пьют. Жена заводит граммофон, и под шипящей иглой вновь звучит «I Can't Get Started» — «Я не могу начать».

Караваджо, перехватив взгляд Патрика, поднимает бокал.

— За нетерпение! За Герберта Уэллса! — провозглашает он и швыряет бокал за борт.

Ночь выдалась жаркая, и он сбрасывает плащ. Женщина бьет кончиком ногтя по его пиратским серьгам. *Дзинь.*

— Дзинь, — шепчет она ему. — Ты не проголодался?

Спустившись вниз, она открывает холодильник. Караваджо вертится на вращающемся стуле еще и еще, мимо неясных очертаний ее платья цвета семги, спиртное выплескивается из его стакана. Он продолжает вертеться, пока стул

не останавливается, она стоит у холодильника, прижимая к пылающему лицу лед, расстегивая брошку на плече, верх платья падает, обнажив одно плечо. Его голову наполняет запах газовой лампы, горящей рядом с ним. Он прилагает все усилия, чтобы встать со стула. Теперь ему надо замереть. Повсюду музыка. Он смеется. Может ли человек с эрекцией потерять равновесие? Глубокая мысль. Он поворачивается к ней лицом. Дорогая Семга. Она делает шаг вперед, чтобы его поддержать. Его щека на ее влажной коже под мышкой, на ребрах, приблизительно там, где пронзили Христа, думает он. Шатаясь, он падает на колени. Обнимает ее поверх юбки за бедра, а женщина выскальзывает из платья, оставив у него в руках скомканную блестящую оболочку. Музыка умолкает. Опасная пауза. Они качаются вместе с волнами, он держит ее сзади за волосы. Потом достает из кармана платок, подносит к ее лицу и усыпляет ее хлороформом.

В ночном воздухе рука Патрика выныривает сбоку перед большим лицом и усыпляет мужа.

Караваджо лежит на полу, обнимая потерявшую сознание женщину в спущенном до пояса платье. «Что ей сейчас снится?» — думает он. Ему хорошо лежать с ней в тишине, наставшей после

того, как рука Джанетты сняла иглу с пластинки. Он выбирается из-под нее, оглядывает комнату, находит одеяло, укрывает женщину и выходит на палубу.

Муж лежит, свернувшись калачиком, на груде канатов. В смокинге он кажется реквизитом, украденным манекеном. Над ним, держась за леер, стоит Патрик и писает в волны. Пока Джанетта гасит огни на палубе, Караваджо стоит у руля. Патрик идет на корму, сгребает граммофон и швыряет в воду.

Караваджо направляет яхту к восточной оконечности города, к парку Кью и водоочистной станции. Патрик с Джанеттой спускаются в каюту. Он что-то достает из холодильника, проходит мимо лежащей без сознания женщины и садится за стол. Он подобен еще не выпущенной пуле. Так он чувствовал себя всю ночь рядом с энергичным Караваджо и его друзьями, абсолютно невозмутимым и спокойным. Ему мешали думать о том, что предстоит. Он намерен проникнуть в самое сердце станции. Проникнуть туда и разрушить — старательно и эффективно. Это тебе не яйцо швырнуть в окно вагона.

* * *

Гигантская впускная труба, по которой вода поступает на фильтровальную станцию, ночью всасывает воду с большей скоростью, чем днем. Патрик об этом знает. Из планов, украденных для него Караваджо, он знает точную длину трубы — немногим меньше двух миль, — углы поворота и наклона, диаметр трубы, неровности металла внутри, знает, где секции соединяются заклепками. Он знает все звенья цепи, которые должен разрушить, проникнув в здание.

На палубе Джанетта смотрит на Патрика, рядом с ними маленький фонарь, единственный источник света на яхте. Он снимает рубашку, и она начинает покрывать его грудь и плечи смазочным маслом. Пока она втирает темную мазь в его тело, он смотрит на ее черные волосы. На ее ключицах выступил пот. Лицо серьезно. Внезапно наклонившись вперед, она легко касается губами его щеки. Потом отводит голову назад, в тайну, и улыбается ему, покрывая его лицо густой смазкой. Когда к ним подходит Караваджо с тяжелым ящиком, на котором написано «ДОБЫЧА», Патрик уже готов. Джанетта обнимает Караваджо. Вынимает блестку из его темных волос. Муж-

чины спускаются в шлюпку, вокруг абсолютная тьма. Всего в полумиле от них сверкает огнями водоочистная станция. Пока Джанетта, сделав разворот, направляет яхту назад к острову, они гребут по направлению к берегу.

Двое мужчин сидят лицом к лицу, соприкасаясь коленями. До плавучей платформы, где начинается впускная труба, остается двадцать-тридцать ярдов. «Это амулет», — говорит Караваджо, надевая на шею Патрику металлическую втулку на кожаном ремешке. Караваджо начинает укреплять на Патрике водостойкий динамит, плотно обертывая его торс под тонкой черной рубашкой брусками взрывчатки. Они оба в черных брюках. Патрик стал невидимкой, его можно обнаружить лишь наощупь, открытые участки кожи — лицо, руки и босые ноги — покрыты смазкой. *Демаркация.* Караваджо может ощутить его тело, ремни и защелки, с помощью которых крепятся детонаторы. Плавучую платформу охраняют часовые. Караваджо с Патриком, подплыв ближе, видят крохотные огоньки их сигарет. Когда нужно повернуть вправо, Караваджо дотрагивается до правой руки Патрика, а когда влево — то до левой. Они не произносят ни слова. Кажется, только Караваджо способен разобраться в едва

различимых пятнышках этого абсолюта.

Он крепит баллон к плечам Патрика. Всего один баллон. С учетом скорости движения воды и длины туннеля Патрик должен проплыть весь путь за двенадцать минут. Но существует одна опасность. Ночью в определенный момент происходит переключение генераторов насосной установки, и забор воды на три минуты прекращается. В это время вода в трубе не движется. Как если бы остановился движущийся тротуар. Оба знали, что это может случиться, что поток воды, несущий Патрика, может неожиданно утратить скорость и остановиться. Воздуха в баллоне хватит только на пятнадцать минут. Если насос будет выключен, то уровень воды в обычно полной трубе, возможно, ненадолго понизится, и тогда Патрик сможет дышать воздухом в верхней части трубы. Однако никто из них не знает этого наверняка.

Под баллоном Караваджо крепит взрывмашинку с плунжером. Маленькую, коричневую, такого размера, чтобы Патрик сумел пролезть с ней сквозь железную решетку во входном отверстии трубы, служащую для того, чтобы внутрь не проникали бревна и трупы. Но живой человек мог протиснуться сквозь прутья. Накануне

Патрику в одном из ночных кошмаров привиделось, что где-то в трубе находится непонятно как попавший туда труп, который ему приходится волочить за собой.

В дальнем конце туннеля находится другая решетка из железных прутьев, сквозь которую он должен будет пролезть. Потом он попадет в сорокафутовый колодец, где прямо над поверхностью воды натянута металлическая сетка, чтобы в воду, перед тем как ее направят вверх, не попали мелкие предметы и рыба. На этот случай у Патрика припасены кусачки. Потом он окажется среди серых агрегатов водоочистной станции.

Караваджо прикрепляет к голове Патрика лампу на батарейках и обнимает его:

— *Auguri, amico mio.*

Патрик кивает, зажимает губами наконечник дыхательного аппарата, спрыгивает с лодки и устремляется вперед, рассекая воду.

Караваджо зажигает фонарь. Зная, что вход в водозаборную трубу охраняется, они тщательно распланировали порядок действий. Как только вспыхивает фонарь, Патрик погружает голову под воду, и его тело, изогнувшись, уходит в глубину.

7 июля 1938 года. Безлунная ночь, в городе жарко. Лимонное сияние водоочистной станции на восточной оконечности города. Караваджо мог бы наклониться вперед и взять ее, как драгоценность с шеи негритянки. Он гребет прямо к водоочистной станции, зная, что Патрик плывет внизу по пятифутовой трубе вместе с потоком воды, груз затрудняет его движения, он складывается пополам, выпрямляется во всю длину и вновь складывается — как сжимающийся кулак.

Караваджо представляет себе, как Патрик плывет в свете лампы, сверкающем на стенках трубы. Однако Патрик, с трудом протиснувшись сквозь металлические прутья из-за баллона, почувствовал, что лампа ему мешает, сорвал ее, и она, опустившись на дно трубы, продолжала светить и потухла через час. Патрик плывет в темноте, увлекаемый течением, сжимаясь и разжимаясь, как кулак в воображении Караваджо, он так часто ударяется руками и ногами о стенки трубы, что от ушибов и ссадин выступает кровь. Смазка с его волос стекает по щекам в рот. Он всем своим существом боится удушья, если кислород в баллоне закончится, и молчания насосов в миле отсюда, тогда он будет вынужден передвигаться всего лишь с человеческой ско-

ростью. Эти страхи сильнее страха темноты или воспоминаний о кошмаре, в котором он плывет в обнимку с трупом. И его тело, бездумно двигаясь вперед, постоянно прислушивается, боясь услышать тишину. Караваджо сказал ему, что, если насосы остановятся, он должен взорвать трубу, выбраться из нее, подняться на поверхность и кричать. Он приплывет за ним. Но оба знали, что выбраться из пробоины в металле, когда в нее устремляется все озеро, почти невозможно.

Прожекторы с фильтровальной станции скользят по воде. Для Караваджо настало время покинуть Патрика. Меняя направление, он гребет на запад, к Кью-Бич в полумиле отсюда. Огни аттракционов медленно гаснут, время за полночь. Очертания чертова колеса исчезают в темноте.

Патрик чувствует первый сбой пустеющего баллона.

Он прибавляет скорость, устремляясь вперед с течением, и дышит глубже. В середине третьего вдоха он врезается в решетку. Он почти на месте. Ему не хватает воздуха, он выдергивает изо рта пересохший пустой наконечник. Он почти на месте с пустым баллоном. Теперь ему нужен свет. Он срывает с себя баллон, руку пронзает боль, протискивается сквозь прутья и устремляется

вверх, без воздуха в легких, без света, вверх по кирпичному колодцу, стараясь, чтобы его не засосало в боковые решетки, встроенные в стены. Иначе он останется там навсегда. Он плывет на ощупь, пока не утыкается в металлическую сетку. Куда ему двигаться, снова вниз? Как выбраться наверх? Проходит несколько бесценных секунд, его пустые легкие готовы разорваться, и тут он понимает, что вокруг него воздух. Вокруг его плеч, головы и рук упоительный воздух. Вот сетка, которую нужно разрезать. Если он откроет рот, он сможет дышать. Дышать натуральным воздухом водоочистной станции.

Вцепившись пальцами в проволоку, он виснет на сетке, оставаясь по пояс в воде. Кусачки, должно быть, вывалились, когда он наткнулся на прутья или отстегивал баллон. Сначала он не волнуется. У него есть воздух. Он понимает, что путь назад против течения, к основанию колодца, ему заказан. Он в ловушке.

Патрик висит на одной руке. Очень слабый взрыв, чтобы сорвать прочную сетку, и он свободен. У него пять детонаторов. Можно пожертвовать одним. Насколько слабым должен быть взрыв? С помощью зажима он прикрепляет запал к сетке, поджигает его и ныряет как

можно глубже. Он не слышит взрыва, просто его с силой швыряет на кирпичи и вместе с водой выталкивает вверх к искореженной сетке, так что на спине и на лице остаются раны. Потом он снова падает вниз. Он не слышит звука, только ощущает движение в сторону и вверх, боль в щеке и спине из-за содранной кожи. Он помнит вспышку света. Он чувствует вкус крови, текущей по нёбу из носа.

Выбравшись из колодца, Патрик оказывается на полу среди серых агрегатов, он дотрагивается до них, чтобы узнать, нет ли среди них горячих. Из главной насосной станции через высокое окно проникает слабый свет. Патрик снимает с себя бруски динамита и раскладывает их на полу. Находит тряпку и вытирает их насухо. Потом вынимает из кармана запалы, обжимные щипцы, часовые механизмы и капсюли-детонаторы, завернутые в промасленные тряпки. Размотав электрический провод, он начинает собирать взрывмашинку и плунжер.

Раздевшись донага, он выжимает одежду и раскладывает брюки и рубашку на горячих агрегатах. Потом ложится на пол, пытаясь отдохнуть. Стараясь выровнять дыхание, он до сих пор набирает в легкие больше воздуха, как будто это

его последний вдох. «Копи царя Соломона». Он улыбается в темноте.

Засыпая на раскладной кровати в своем офисе, Харрис слышит глухой звук, который не вписывается в диапазон шумов, производимых водяными насосами. Он выходит на антресоль насосной станции. Она залита ярким светом и пустынна. Он спускается в халате по лестнице на нижний уровень насосной станции, проходит двадцать пять ярдов по туннелям Вентури и медленно возвращается назад, прислушиваясь, не раздастся ли снова этот странный глухой звук. Не видно ничего, кроме выкрашенных серой краской агрегатов. Выглянув из окна на верхнем уровне, он замечает часовых в военной форме. И, успокоившись, возвращается к себе.

Патрик отдыхает с открытыми глазами, его взгляд устремлен в высокое окно, через которое в темное помещение, где он лежит, проникает свет. Вскоре он пойдет вперед по длинному туннелю, в котором он ее искал и нашел, она умывалась при свече среди всех этих марионеток… много лет назад. До лица невозможно дотронуться, так оно болит. Он понятия не имеет, что у него сломано.

Через двадцать минут он встает, одевается и на-

чинает крепить подрывные капсюли к динамиту. Потом вступает во влажную атмосферу насосной станции. Устанавливая взрывчатку, он рисует себе картину ближайшего будущего. Столб воды взметнется на семьдесят футов в воздух, проломив стеклянные окна на крыше. Пол вздыбится, все насосы мгновенно сгорят из-за перегрузки. Когда взорвутся отстойники, палатки военных, стоящие на площадке над ними, провалятся в воду на глубину двадцать четыре фута. Он поднимает связку проводов и тянет огнепроводные шнуры по тоннелям Вентури.

На поле для гольфа я не пробыл и дня,

В «Метро-Голдвин-Майер» пригласили меня…

Шум машин заглушает его голос, пока он негромко напевает про себя, не подозревая о том, что к нему как репей привязалась эта песенка с яхты. Он бредет по воде фильтровальных бассейнов с мотком проводов на вытянутой руке, выбирая несущие колонны, чтобы установить динамит. Отсюда вода прорвется через армированное стекло в коридоры, выложенные розовым мрамором.

У меня есть дом, дом нашей мечты,

Но день и ночь я жду, когда появишься ты…

Он устанавливает заряд с электрическим детонатором над дощечкой с надписью «Государственный центробежный насос». Остальные ставит под резервуарами с хлорным железом и рядом с башенными часами из розового мрамора со светящимся циферблатом. Присоединяет провода к взрывателю.

Босиком он идет по лестнице, волоча за собой провода под напряжением, потом по антресоли и входит в кабинет Харриса.

Харрис сидит за письменным столом, на котором горит настольная лампа с изогнутой ножкой, и смотрит на открывающуюся дверь. Даже если бы он был знаком с вошедшим прежде, он бы его не узнал. Тонкие черные хлопковые брюки и рубашка, черное от смазки лицо, кровавые ссадины и ушибы. Костяшки пальцев кровоточат, одна рука висит вдоль тела. Когда незваный гость поворачивается, чтобы закрыть дверь, Харрис видит разорванную сзади рубашку.

Незнакомец приближается к Харрису, зажав под мышкой, словно курицу, взрывмашинку.

~~~

— Мы знакомы?

— Я работал на вас, мистер Харрис. Строил туннель, по которому только что проплыл.

— Кто вы такой? Как вы осмелились сюда прийти!

— Я не просто осмелился, я сделал это. Все заминировано. Мне стоит только нажать на плунжер.

— Что вам надо? Кто вы такой?

— Меня зовут Патрик Льюис.

Харрис молчал. Патрик наклонился вперед и положил свои порезанные пальцы на гладкую поверхность письменного стола.

— Полевой шпат, — пробормотал он.

Харрис посмотрел в пылавшие на темном лице глаза. Потом встал, подошел к буфету и вернулся с графином бренди и стаканами. Он размышлял. Потом начал говорить. Он говорил о том, что терпеть не может городские власти, но любит
~~~

здание городского совета.

— Я, можно сказать, родился в этом здании. Моя мать работала там сторожихой. Я всего добился сам.

— Вы о нас забыли.

— Я брал вас на работу.

— Ваша поганая плитка «в елочку», которой выложены туалеты, стоит больше половины всей нашей зарплаты.

— Да, это правда.

— И вам не стыдно?

— Послушайте, через пятьдесят лет сюда будут приходить и восхищаться этой плиткой и медными крышами. Нам нужны излишества. То, к чему надо стремиться. Я отчаянно бился за эту плитку.

— Это *вы* бились. *Вы*. Подумайте о тех, кто строил этот туннель. Вам известно, сколько нас там погибло?

— Подобная статистика не велась.

— Выключите свет.

— Зачем?

— Говорю вам, выключите свет.

Харрис потянул за бисерный шнурок на лампе. Комната погрузилась в темноту.

Теперь Патрик двигался в темноте, по-прежнему держа под мышкой взрывмашинку. Ему нужно было размяться, нужно было ходить. Взгляд Харриса и медленные движения его рук вгоняли его в дремоту, ровный голос, необходимость фокусировать взгляд на лампе гипнотизировали его. Без света он чувствовал себя бодрее, он различал тени, запах кровати где-то в комнате. Харрис говорил из темноты:

— Вы не понимаете, что такое власть. Вы не любите власть, не уважаете ее, не хотите, чтобы она существовала, но вы все время вращаетесь вокруг нее. Вы что-то вроде связного, Патрик. Подумайте об этом… Вы молчите. Я буду говорить дальше. Но прежде чем вы решитесь нажать на эту штуку, зажгите свет. Окажите мне такую милость.

— Зажгу. Продолжайте, Харрис.

— Мне ясно, кого вы ищете, — злодея.

Харрис понимал, что нужно дотянуть до рассвета. Когда столб света упадет прямо на большой письменный стол, на блокнот в клетку, на авторучку. Пистолет лежит возле кровати. Нужно продержаться до момента, когда первый, едва заметный луч света проникнет сквозь круглое

окно у него над головой в форме восьми стеклянных полумесяцев, диаметром восемь футов. Он наклонился вперед.

— Однажды ночью мне приснился сон. Я сошел с автобуса на Колледж-стрит — в то время мы прокладывали эту улицу так, чтобы она повернула на Карлтон, — и оказался в совершенно незнакомом мне районе. На месте перекрестка я увидел фонтаны. Но самым странным было то, что я знал, куда идти. Я знал, что сразу же за поворотом появится парк и другие фонтаны. Когда я проснулся, ощущение того, что мне знакома эта местность, преследовало меня весь день. На следующую ночь я гулял во сне по таинственному парку близ Спадайна-авеню. Днем я обедал с архитектором Джоном Лайлом. Я рассказал ему о том, что видел во сне, и он рассмеялся. «Это реальные места», — сказал он. «Где они находятся?» — «В Торонто». Оказалось, мне приснился городской проект, отвергнутый несколько лет назад. Про все эти великолепные сооружения было сказано, что они ли-

бо слишком безвкусны, либо слишком дороги, либо что-нибудь еще. И я, гуляя рядом с транспортным кольцом на Янг и Блор-стрит, шел по имевшейся на плане Федерал-авеню до вокзала Юнион. Лайл был прав. Это были реальные места. Они могли бы существовать на самом деле. Я хочу сказать, что виадук на Блор-стрит и это здание, где мы сейчас находимся, не больше чем намек на то, что здесь могло бы быть… Вы должны понять, Патрик, что вы сродни этим местам. Вы такой же участник этого строительства, как члены городского совета и миллионеры. Но вы оказались среди карликов этого гигантского предприятия, о которых никто никогда не узнает. Вы человек без роду без племени. Вы пропавший наследник. Поэтому оставайтесь в лесу. Вы отрицаете власть. Вот почему сладкоречивые глупцы — политики, журналисты, мэры и их помощники — представляют это поколение. Вы должны понять, что весь фокус в том, чтобы быть одинаково серьезным в старости и в юности.

— Вы знали женщину по имени Элис

Галл?

— Нет… А что, я должен был ее знать?

— Да.

— Ее нет в живых?

— Почему вы так говорите?

— Вы сказали «знали».

— Да.

Патрик включил свет и увидел Харриса, глядящего ему прямо в глаза.

— Вы приняли решение?

— Еще нет.

Патрик выключил свет. Они снова исчезли друг для друга.

— Элис Галл, — очень медленно произнес Харрис, — была убита анархистом.

— Это не так.

— Она была актрисой. Верно?

В темноте Патрик слышал, как Харрис делает глоток бренди и ставит стакан на стол. Патрик сидел на полу, его здоровая рука лежала на взрывмашинке.

— Кажется, я где-то ее видел, — сказал Харрис.

— Она обычно выступала здесь. Здесь, на вашей недостроенной станции, проходили собрания. Здесь мы с ней встретились, после многих лет.

— Какие собрания? О чем вы говорите?

— Потом я ее потерял… Кто-то дал ей не ту сумку. Просто по ошибке. Она взяла не ту сумку. Там было взрывное устройство, бомба с часовым механизмом. Она шла с ней в толпе по Данфорт-авеню, недалеко от Бродвью, шла в центр города. Кто знает, что она думала о том, что у нее в сумке. Они поняли, что ей грозит опасность, как только это обнаружилось.

Патрик говорил почти беззвучно, шепотом. Если бы он писал, подумал Харрис, то буквы становились бы все меньше.

— Больше не хочу об этом говорить.

— Тогда это навсегда останется для вас кошмаром.

— Это навсегда останется кошмаром, Харрис. Она любила повторять одну строку, одну старую пословицу: «Един-

ственное место, куда можно плюнуть в жилище богача, это его лицо».

— Это Диоген.

— Я не знал.

Тишина.

— Продолжайте, Патрик.

— Меня разыскали на кожевенной фабрике, крича о том, что случилось. И я бросился бежать. Я бежал на север, по краю долины, машин на улицах не было, из-за демонстраций в городе царил хаос. Пробегая мимо пекарни «Герань», я захватил с собой ее друга Темелкова, чтобы он помог мне ее найти. И мы вдвоем пробежали весь путь до Данфорт-авеню, где собралась толпа и где, по-видимому, находилась Элис. Когда мы там оказались, у меня уже не было сил кричать. *Элис!* Я не мог даже прошептать ее имя. Мы начали подпрыгивать, чтобы высмотреть ее над головами толпы. Она несла бомбу с часовым механизмом, не подозревая об этом, и вскоре все это должно было взлететь на воздух вместе с ней. Мы с Темелковым подпрыгивали, вокруг нас была толпа,

время от времени мы видели искаженные лица друг друга… Потом раздался взрыв. Довольно близко, не так далеко, чтобы я не мог ее найти, схватить эту сумку и отбросить куда-нибудь подальше…

Тогда никто не двинулся с места, запомнил Патрик, толпа молча сомкнулась. Элис согнулась пополам, держась за ребра, между ею и потрясенными людьми образовалась дистанция в двенадцать футов. Когда к ней подошел Патрик, она узнала его — глаза, которые невозможно забыть, рана на боку. Он нежно ее обнял, боясь причинить боль. Он неотрывно смотрел ей в глаза, больше всего боясь, что они закроются и не впустят его. Один глаз заморгал, затем другой. И тут сумка, стоявшая в десяти футах от них, еще раз взорвалась.

Никто не пострадал. Но когда он снова на нее посмотрел, ее глаза были закрыты. Мертвая рука вцепилась в полу его куртки.

Он встал и побежал, в ее крови, испуганная толпа расступилась. Он не подозревал о том, что с его губ слетают стоны. Врезавшись во что-то очень прочное, он вновь обрел способность видеть.

Он посмотрел в лицо Николасу Темелкову,

который крепко держал его за плечи. Не для того чтобы поймать, а чтобы успокоить. Патрик отчаянно вырывался. Лицо бывшего строителя моста скрепляла воедино одна условность — две прозрачные слезинки. Две крохотные серебряные кареты.

Потом Николас Темелков отпустил его и подошел к телу Элис.

— Патрик…

В комнате было по-прежнему темно. По-прежнему тихо. Харрис сидел не шевелясь, молча, в полной темноте. Ему было известно лишь одно: откуда доносился голос.

На потолке, высоко над ним, было окно с восемью полумесяцами. Вскоре там появится намек на голубизну. Мой бог, ведь он приплыл сюда, внезапно понял Харрис. Вот как он сюда проник, по туннелю. Какие видения, какая мечта его вела? Он нажал на часы с репетиром, пробило пять. Звук ясно прозвучал в темноте.

Мысль о близости рассвета отгоняла сон. Харрис оставался на месте еще час, вплоть до момента, когда в комнату проник первый луч света. Он задержался в углу на потолке, неясно высветил шкафы, треклятую плитку в «елочку»,

похоже раздражавшую всех, а потом рассеял тьму в алькове, где стояла кровать, на которой в странной позе лежал Патрик — скорчившись, подняв колени, разбросав руки в стороны, закинув голову назад. Он перерезал себе глотку в темноте. Боже мой! Харрис вскочил. Потом снова сел. Нет, Патрик спал. Спал! Порезы были получены еще в туннеле. Харрис облегченно вздохнул. Взрывмашинка стояла на полу. Харрис понимал, почему этот человек выбрал именно его, почувствовал, что он один из немногих людей во власти, кто связан с чем-то осязаемым. Ведь тем, кто обладает реальной властью, нечего предъявить. У них нет при себе ничего. Харрис — дилетант рядом с ними. Ему каждый раз приходится продавать себя.

Харрис стоял над Патриком.

Ночью он лег, — от сна пробудившись,
Видит: львы резвятся, радуясь жизни.
Боевой топор он поднял рукою,
Выхватил из-за пояса меч свой, —
Словно копье, упал между ними.[8]

В дверь постучали. Шесть утра. Харрис не отозвался. В дверь снова постучали. Харрис опасался,

---

[8] Примечания: 8
Эпос о Гильгамеше, таблица IX.

что Патрик внезапно проснется.

— Войдите, — прошептал он.

Вошел офицер, четко печатая шаг, и отдал честь. Прежде чем он успел громко отрапортовать, Харрис, приложив палец к губам, указал на кровать.

— Возьмите взрывмашинку и обезвредьте. Пусть он поспит. Ничего не говорите. Просто унесите машинку. И пришлите сюда медсестру перевязать ему раны.

~~~

— Патрик!

Он медленно просыпался, на его плече лежала рука Ханы.

— Патрик! Мы должны ехать в Мармору.

— Еще пять минут, нет, десять.

— Нет, мы *должны* ехать. Я приготовила термос с кофе.
~~~

— Спасибо.

Его одежда стала влажной от ночного пота.

— Я проснулся. В Мармору. Хорошо.

Он стоял на балконе в ночном воздухе и смотрел на большой зеленый сад владельцев дома. В атмосфере еще чувствовались остатки вчерашней жары. Хана заперла дверь, они спустились вниз по двум пролетам металлической лестницы и направились по Олбани-стрит к машине. В этот час дома казались большими и красивыми, кое-где горел в окнах свет, неясно проступали интерьеры с характерными особенностями, каждый со своей историей. Здоровая рука Патрика лежала на плече Ханы, которая прижимала к себе термос.

— Расскажи мне о ней.

— Она была лучшей подругой твоей матери. Я тебе все расскажу.

Балконы второго этажа, изгибаясь, нависали над улицей. Из-за каждой ограды лились свои запахи. Мистер Ривьера, вернувшись с ночной смены, поливал свой сад в три утра, не обращая

на них внимания. На лестничных перилах висел собачий поводок. Они ехали за Кларой, чтобы вернуть ее сюда. Патрик считал эту улицу особенно красивой, особенно уютной в этот ранний час — на ступеньках крыльца можно видеть отдыхающих енотов, они кажутся ручными и явно чувствуют себя здесь хозяевами.

Остановившись у «форда», они открыли правую переднюю дверцу. Патрик чуть было не сел за руль.

— Хочешь повести машину? — спросил он.

— Я? Я не умею переключать скорости.

— Вперед! Я буду их переключать, пока мы не выйдем из города.

— Я попробую.

Хана села прямо, приспосабливая зеркальце заднего вида к своему росту. Патрик забрался в машину, довольно покряхтывая, стараясь показать, как ему удобно на пассажирском месте.

— Включи фары, — произнес он.